

ГЗВ

ЮРИЙ
ГЕРМАН



Annotation

«У папы о Лапшине есть две книги. Одна — прелестная, высокохудожественная книжка „Лапшин“. Симонов считал, что такое может написать только старый человек, а пришел мой папа, двадцатитрехлетний, — и написал. Это была вещь об одиночестве, написанная в стране, где отрицалось одиночество. В этом сила папы, за которую я его так и ценю. Вторая — „Один год“, плохо написанная, вся построенная на любви к Хрущеву и желании ему угодить».

Алексей Герман

- [Юрий Герман](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [Комментарии](#)
-

**Юрий Герман
Лапшин**

В конце декабря 1936 года Лапшину исполнилось ровно сорок лет. Патрикеевна испекла пирог с капустой и настояла водки на вишневых косточках, Васька Окошкин купил в подарок Лапшину металлический портсигар с теннисными ракетками на крышке, и сам Лапшин принес от бывшего Елисеева икры, копченого угря и бутылку шампанского. Из гостей были — сосед по квартире, врач Ашкенази, с которым Лапшин часто на досуге играл в шахматы, потом приятель Васьки Окошкина, про которого Васька сказал: «Некто Тамаркин», и, наконец, товарищ детства Лапшина, агроном Хохряков.

Собрались часов в девять вечера и, поставив стулья у топящейся печки, неторопливо разговаривали о будущей войне.

— Ихний генеральный штаб как думает, — говорил Лапшин, грея у огня свои большие, сильные руки и поглядывая снизу на Ашкенази, — ихний генеральный штаб думает вот как: в 1606 году польская армия без всякого сопротивления дошла до Москвы. Правда, и драпанула вместе с Владиславом, но все-таки до Москвы дошла. Второй раз Москву взял Наполеон, — ему фронт обнажили, он и взял. Так вот, что обнажили — ихний генштаб не думает, а что Наполеон взял — думает...

Лапшин прищурился и засмеялся.

— Тут-то и конец пришел великой армии, — продолжал он, поворачивая ладони тыльной стороной к огню, — стратегия была наша, а не ихняя. Об этом им надо крепко подумать, прежде чем кидаться. Верно?

— Верно, — сказал некто Тамаркин. — Кроме того, наш воздушный флот тоже, извините, — подвиньтесь...

— Сильный? — спросил Ашкенази.

— Слава богу, — усмехнулся Тамаркин. — Пальца в рот не клади!

И так как все молчали, то Тамаркин вдруг соврал что-то чрезвычайно неправдоподобное насчет какой-то прыгающе-летающей машины.

— Вся голубая, — сказал он, — чудовищно! Действительно, техника на грани фантастики.

— Ох и врун! — сказал Васька. — Ты, Тамаркин, ешь пирог с грибами и держи язык за зубами! Раз ты электротехник, то и рассказывай насчет там электричества.

— Я люблю авиацию, — сказал Тамаркин, — и не учи меня!

Он очень покраснел и молчал, пока не выпил две рюмки настойки, а потом наклонился к Ашкенази и рассказал ему историю перелета Линдберга. Лапшин разговаривал с Хохряковым. Они вспоминали Волгу и детство и делали это с той настойчивостью, которая появляется у людей, когда они знают, что, если воспоминания окончатся, говорить будет не о чем. И действительно, вспомнив все, они замолчали.

— Раскидала нас жизнь, — сказал, наконец, Лапшин. — Как твой город-то называется?

— Рыльск.

— Вот, Рыльск, видишь? А мне сорок годков стукнуло...

Лапшин закрыл глаза и покачал головой. Тамаркин, Ашкенази и Окошкин, сидя рядом на кровати, негромко пели:

*Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...*

— Красивый романс, — похвалил Хохряков, — цыганский, что ли?

Они выпили еще по рюмке настойки, и Хохряков сказал:

— А я, Ваня, беспартийный.

— Исключили?

— Почему исключили? — испугался Хохряков, — Ну просто я беспартийный. Как говорится, чем был, тем и остался.

— А почему?

— Байбак я, — сказал Хохряков, — и женат на поповской дочке. Начнут спрашивать, почему да отчего...

— Ну, это глупости! — сказал Лапшин. — Причем тут поповская дочка?

— А притом, — ответил Хохряков, — притом, что действительно притом...

Он наморщил лоб, и Лапшин вдруг заметил, как он постарел; заметил, что усы у него седоваты и глаза старые, выцветшие; заметил, что у него одышка.

— Эх, Ваня, — сказал Хохряков, — Ваня ты, Ваня, завидую я тебе, что ты в городе живешь! Культурно у тебя, театры, балеты... Я тоже люблю.

И запел жиденьким голоском:

Тот кумир — телец золотой...

Сконфузился и испуганно взглянул на Лапшина.

— Знаешь, Ваня, — сказал он, — моя жена хорошая женщина. Поедем ко мне, поживешь, отдохнешь. Помидоры у меня, дыня есть, вывожу помаленьку... А? Поедем?

— Да некогда, брат! — сказал Лапшин, не зная, что ответить.

И он пристально поглядел на Хохрякова и подумал о том, что они теперь разные и ненужные друг другу люди.

Тамаркин предложил сыграть в подкидного. Все сели вокруг стола, и Ашкенази сказал, зевая:

— Пора спать, черт дери!

Дураком оставался Окошкин, и Тамаркин каждый раз говорил ему:

— В любви, Вася, повезет! Ты не унывай!

После карт еще поговорили о войне и разошлись рано, в двенадцатом часу. Лапшин был не в духе и, проводив гостей, сказал Ваське Окошкину, что его Тамаркин — чепуховый человек.

— Ваш Хохряков хороший! — сказал Васька. — Таких жаб в жизни не видал!., Вообще, отпраздновали...

— Ладно, надоело! — снимая сапог, сказал Лапшин. — Все жабы, только мы с тобой чудные. Давай спать.

Они легли и долго еще читали: Васька — журнал, а Лапшин — большую книгу, которую трудно было держать лежа.

— Интересно? — спросил у него Васька.

— Ничего, — ответил Лапшин, — мне исторические работы всегда читать интересно.

Один журналист, приятель Лапшина, которого Лапшин любил за то, что они, собираясь, варили пельмени или пели в два голоса песни, — говорил про себя, что он живет грязно, но интересно, а Лапшин чисто, но неинтересно.

Лапшин жил, действительно, и чисто, и неинтересно. У него была большая комната с нишей и с огромными, цельного стекла, окнами, всегда зияющими без занавесей и штор, с необходимой и унылой желтенькой древтрестовской мебелью, с начищенным паркетом и с люстрой, плохо подвешенной и оттого постоянно позванивающей хрустальными висюльками. В комнате всегда пахло табаком и сапогами, и как Лапшин ни бился вместе с Патрикеевной, он не мог вывести этот запах холостяцкой жизни.

Кроме Васьки Окошкина, жившего на хлебах у Лапшина, в комнате, в нише, жила еще Патрикеевна — неизвестно откуда взявшаяся старуха, хромая (у нее была деревянная нога, и когда Васька с ней ссорился, он говорил ей, что порубит ее ногу на дрова), очень злая и очень вкусно стряпавшая. Эта Патрикеевна несла какую-то малопонятную нагрузку в группоме домработниц, читала брошюры о трудовом праве и часто на кухне говорила, что пойдет зачем-то к товарищу Калинину и что там-то все и выяснится. Иногда она допекала Лапшина уймой вопросов, ни на один из которых он не мог ответить, как ни старался.

Он боялся ее, когда она при нем убирала комнату, или подавала ему одному без Васьки обед, или шумно и гневно молилась в своей нише. И все, кто приходил к нему, боялись ее, кроме только Васьки, которого она боялась, и который утверждал, что знает, будто Патрикеевна во время голода на Волге съела своего мужа и родителей.

— Ты людоедка, — говорил он, — и я тебя в Соловки упеку. У меня имеется на тебя дело, и я этого так не оставлю. И что это за имя такое «Патрикеевна»? Я удивляюсь. И за колдовство я тебя упеку, за то, что ты ведьма...

Она была странно моложава лицом для своего возраста, стриглась и носила в волосах красную гребенку. Лапшин знал, что Патрикеевна

немилосердно его обворовывает, но стеснялся ей это сказать и только иногда, густо краснея, говорил гневным басом:

— Этого не может быть, чтобы в компот кило сахару! Нет у меня больше денег, я их не сам делаю.

И ложился в сапогах на кровать лицом к стене.

Васька Окошкин возник в жизни Лапшина неожиданно, в 1929 году. Он был прислан райкомом комсомола в милицию, и Лапшин взял его к себе в бригаду помощником уполномоченного. На второй педеле следственной работы Васька, еще не получивший формы, очень бледный, в черной старенькой косовороточке и в сапогах бутылками, перепачканный чернильным карандашом, вошел к Лапшину в кабинет и сказал лающим голосом:

— Товарищ начальник! Я у вас от работы отказываюсь. Вы невинных людей сажаете. Это ужасно, то, что здесь делается.

Лапшин начал вдруг покорно улыбаться и с этой улыбкой встал из-за стола.

— Застенок здесь? — спросил он.

— Да, — сказал Окошкин, — это ужасно!

— Кого вы допрашиваете? — спросил Лапшин.

— По обвинению в вооруженном налете Чалова Ивана Федоровича, — скороговоркой сказал Окошкин, — Но он в налете участия не принимал, он душевнобольной. А мне приказывают...

— Пойдем! — сказал Лапшин.

Они вошли в комнату Окошкина. Чалов в шапке сидел за столом и, мелко нарывая бумагу грязными пальцами, ел кусочки один за другим.

— Хорошо, — при этом говорил он, — люблю, хорошо...

В глазах у него было отвращение, и кадык, как и все горло, содрогался от рвотных судорог.

— Встать! — сказал Лапшин.

Чалов встал.

— Узнаешь? — спросил Лапшин.

— Хорошо, — падающим голосом пробормотал Чалов, — люблю, хорошо...

Он подумал и прибавил:

— Семьдесят один.

Некоторое время Лапшин молча глядел на Чалова. Тот было еще протянул руку к бумаге, чтобы пожевать, но под влиянием взгляда Лапшина сжал пальцы в кулак.

— Был ты хороший вор, — сказал Лапшин, — и никогда не филонил. Взяли тебя — значит, и отвечай за дело. По мелкой лавочке идешь, Моня. Стыдно!

— Семьдесят один, — сказал Моня, — тридцать два, сорок.

— Ну и дурак! — сказал ему Лапшин. — Как был дурак, так и остался дураком.

Моня снял с головы шапку, бросил ее на пол, наступил на нее ногой и сказал одесским говорком:

— Начальничек, это-таки да Моня. Это не Чалов. Хорошему человеку завсегда объясню.

И он косо взглянул на Окошкина.

Моню увели в камеру, а Лапшин с Окошкиным просидели в кабинете часа полтора. Лапшин сидел на подоконнике, сосал папироску и говорил:

— Повел я этих офицеров. Ничего, идут. Довел до места, И спрашиваю, как в книжках читал: дескать, у кого имеется последнее желание? И тогда один господин, высокенький такой мужчина, усатый, мне заявляет: «Делайте ваше дело, господин пролетарий, потому что когда наши вас поставят, то, поверьте, не спросят, какое у вас желание...» О, брат, как!..

Они вышли из управления вместе, и Окошкин проводил Лапшина до самого дома.

— А то хочешь, пойдём ко мне? — сказал Лапшин. — Будем боржом пить...

Один раз в своей жизни он был в Боржоми, и с тех пор у него осталась любовь к этому месту. Темные бутылки с водой, пахнущей йодом, напоминали ему душные вечера в парке, прогулки в горы, любезного и обходительного врача, книги, которые он там прочитал...

Окошкин попил с ним боржому, поел огурцов с помидорами, потом сказал:

— Я у тебя переночую, товарищ Лапшин. Мне сейчас уже некуда идти.

— Как некуда? — спросил Лапшин.

— А у меня комнаты нету, — сказал Окошкин, — я у товарищей ночую. У меня сестренка разродилась, и мама к ней приехала, так что мне спать совершенно негде.

Он махнул рукой.

— Ну, ночуй! — сказал Лапшин. — Если так, то уж ночуй.

Сняв со стены гитару, он потрогал струны и запел украинскую песню с мягкими и печальными словами. Пел Лапшин плохо, врал и любил ноты позадушевнее. Окошкин взял у него из рук гитару и, сделав лицо идиота, спел очень глупую частушку.

— Это да! — сказал Лапшин удивленно.

Заснули они под утро, очень довольные друг другом, а утром, вместе напившись чаю с рогульками, песочком, по холодку, пошли в управление. Васька молчал, чем-то подавленный, вероятно вспоминая вчерашнюю свою истерику, а к Лапшину пристала уличная сучка, и он посвистывал ей и разговаривал с ней как с человеком.

Потом Окошкин два дня сидел в засаде на Стремниной улице — поджидал жуликов, и Лапшин его не видел и не думал о нем. Но когда Васька явился, Лапшин обрадовался ему и терпеливо выслушал весь его рассказ о том, как ждали, как не шла вода, и какая стерва хозяйка, и как брали жуликов, и как все отлично получилось.

— Здорово работали! — говорил Васька, и его круглое лицо, покрытое загаром и мелкими капельками пота, все светилось от возбуждения. — Знаешь, товарищ Лапшин, это большое дело врага брать, очень растешь на этом и мужаешь... И переживал я сильно!

Он вытаращил глаза. Это должно было изобразить степень его переживаний.

— Вот как я переживал! — воскликнул Васька. — Я весь дрожал...

— Ну ладно, иди! — сказал Лапшин. — Мне работать надо.

И, оставшись один в кабинете, попивая чай и покуривая над грудой спешных и важных бумаг, он вдруг задумался и с силой и ясностью вспомнил первые дни своей работы в Чрезвычайной комиссии, а главное — себя самого, свои тогдашние мысли и чувства, мокрый пайковый хлеб, зеленую махорку и бесконечные допросы.

Несколько раз Васька Окошкин ночевал у Лапшина, потом как-то спросил:

— Иван Михайлович, а что, если я у вас немного поживу?

— Поживи немного, — сказал ему Лапшин. — Только гулянок у меня не устраивай, не люблю.

— Боже сохрани! — сказал Васька.

У него не было почти никаких вещей, зато была масса желаний: он хотел сшить себе сапоги, как у Побужинского, собирался купить велосипед, рассуждал, что бриться нужно самому, а для этого необходим бритвенный прибор, хотел купить настольный вентилятор, заграничную зажигалку, охотничье ружье и уйму других вещей. Как все люди, страстно желающие чего-либо, он научился быстро и ловко оправдывать каждое свое желание. Так, он говорил, что велосипед экономит время и развивает мускулы ног, которые у него, у Васьки, почему-то ослабели; бритвенный прибор ему был нужен для экономии, чтобы не бриться в парикмахерской; настольный вентилятор, по его мнению, обеспечивал очень высокую производительность труда в жаркие летние дни; зажигалка сэкономила деньги, затрачиваемые на спички, и т. д. Все эти рассуждения очень утомляли Лапшина, и когда Васька начинал болтать о своих мечтах, Лапшин ему говорил «отвяжись!» и ложился на кровать лицом к стене.

Мечты оставались мечтами. Васька получал немного, половину из каждой получки отдавал сестре, а остальные растрачивал с жаром и рвением в два-три дня. Деньги жгли ему руки, он обожал дарить и покупал все, что подворачивалось под руку: мундштук, камеру для футбольного мяча, носовые платки, распялку для костюма, ароматическую бумагу «фиалка», комплект журнала за прошлый год и прочее в таком же роде.

— На, товарищ Лапшин, — говорил он, вынимая из кармана коробочку мятных лепешек, — Это тебе!

— А чего это?

— Такие штучки, — говорил Васька, — для освежения во рту.

— Да у меня во рту и так свежо, — говорил Лапшин, недоуменно вертя пальцами коробочку. — Что тебе в башку взбрело?

За стол и квартиру Лапшин у Васьки ничего не брал, и Васька в благодарность покупал «для дома» то чай-полотенце с нет ухами, то зубную пасту, то дорогих папирос или ветчины. Васькино присутствие причиняло Лапшину много хлопот, но это не раздражало его, наоборот, ему нравился тот шумный беспорядок, который Васька

удивительно быстро создавал вокруг себя. Мучили Лапшина только вечные телефонные звонки, которые начались вслед за Васькиным въездом. Звонили всегда только женщины, и так как ни Васьки, ни Лапшина днем дома не бывало, звонили ночью. Телефон висел над кроватью Лапшина. Сонный, он снимал трубку, и женский голос спрашивал:

— Васеньш?

Они давали Окошкину каждая свое имя, и поэтому Лапшин никогда не понимал, кого спрашивают.

— В чем дело? — кричал он, раздражаясь. — Кого нам надо?

Васька просыпался от крика, но не подавал признаков жизни, надеясь, что как-нибудь обойдется без него и что ему не придется вставать.

— Какой вам номер нужен? — мучился Лапшин.

Женщина пугалась, вешала трубку, а Васька говорил:

— Постоянно телефонная станция путает номер. Какое безобразие...

Если же голос в трубку объяснял, что Васюрка, или Вавка, или даже Котик — на самом деле Окошкин, то Ваське приходилось вставать с постели, и тогда он мучительно долго болтал над головой Лапшина, не давая ему заснуть и раздражая его до того, что он кричал:

— Ты дашь мне спать или нет, черт паршивый? Третий час ночи! Нашел время обнюхиваться...

— А я виноват? — огрызался Васька, закрывая ладонью трубку. — Чего вы орете?

Утром он оправдывался и говорил, не глядя в глаза Лапшину, бесконечно лживым и блудливым голосом:

— Ей-богу, Иван Михайлович, она по делу. Это моей сестренки подруга, Катька Осокина, не знаете?

— Не знаю, — мрачно говорил Лапшин.

И они шли в управление — Лапшин впереди, а Васька сзади, и не разговаривали друг с другом. Но наступал день с работой и делами, Васька являлся в кабинет к Лапшину с докладом, стоял перед столом «смирно» и докладывал и говорил уже не «товарищ Лапшин», а «товарищ начальник», и выяснялось, что дело, которое он вел, шло блистательно, а главное, с легкостью, без пота, бестолковой беготни,

без многословия и проволочек — одним словом, шло так, как должно было идти в бригаде Лапшина. И Лапшину делалось жалко Васьки, и он говорил ему что-либо примиряющее, но строгое, например:

— Побрился бы ты, товарищ Окошкин! Эдак не годится.

Или:

— Тут-то у тебя ладно, а вот почту ты не очень читаешь...

Или еще:

— Прошу заняться комнатой для ожидающих! Там черт знает что творится. Посажу под арест, тогда поздно будет.

На что Васька неизменно отвечал:

— Слушаюсь. Можно идти?

— Идите! — говорил Лапшин и строго глядел в спину Окошкину, шедшему к двери.

Он был способным работником и любил дело, но ему еще очень не хватало выдержки и упорства. И Лапшин нарочно придерживал его, не давая ему уполномоченного, хотя Окошкин почти самостоятельно вел дела. И относился Лапшин к Окошкину куда строже, чем к другим работникам своей бригады, и жучил его чаще и обиднее, чем других, и решительно ничего не прощал ему. Но чем дальше, тем больше Окошкин привязывался к Лапшину, и хоть давно пора было съехать ему от Лапшина, но он этого не делал и даже перестал говорить о том, что подаст рапорт и получит свою комнату...

В 1932 году Окошкина принимали в партию. Перед тем как дать ему рекомендацию, Лапшин долго пил любимый свой боржом и говорил с Васькой о пустяках. Потом, уставившись в него голубыми, яркими глазами, спросил, как спрашивал на допросе:

— Это все хорошо. А что у тебя там с бабами происходит?

Окошкин долго глядел в пустой стакан от боржома, мысленно его поворачивая, потом сказал тем блудливым голосом, который Лапшин до глубины души ненавидел:

— Если уж и происходит, то не с бабами, а с женщинами.

— Васька! — угрожающе сказал Лапшин.

— Да ну чего, Васька, Васька! — уже искренне заговорил Окошкин. — Все вы мне Васька да Васька! Ну, ей богу, я не виноват, что они ко мне лезут. Васюта, да Васеиыш, да Васюрочка! Побыли бы вы на моем месте! Вы не верите, ну до того разжалобят, спасения нету! И так мне и так...

— А ты женись, — наставительно сказал Лапшин. — Будь человеком.

Он вылил в свой стакан остатки боржома и унылым плюсом добавил:

— Не гляди на меня, дурака, женись, детей заводи. Назовешь как-нибудь по-лошадиному: Электрон или там Огонек...

Он засмеялся и поглядел на Окошкина по-стариковски, снизу вверх.

— На ком жениться-то? — спросил Васька. — Мне они все нравятся. Выбрать очень трудно.

— Да, это трудно, — сказал Лапшин. — Я вон так выбирал-выбирал, да и провыбирался.

Они помолчали, потом сыграли в шахматы. Было часов семь вечера. После шахмат Лапшин побрился перед зеркалом, фырча, вытер лицо одеколоном и надел шинель.

— В управление? — спросил Васька.

— В управление, — сказал Лапшин.

Вошла Патрикеевна и спросила, нельзя ли посадить в тюрьму одну знакомую врачиху за то, что та назвала домработницу свиньей.

— Нельзя, — сказал Васька. — Уйди, Патрикеевна, ты мне действуешь на нервы!

Патрикеевна ушла, постукивая деревянной ногой. Васька тоже надел шинель, надушил одеколоном Лапшина свой носовой платок и, бешено стрельнув озорными глазами в зеркало, сказал, что готов.

На улице крупными, легкими хлопьями падал снег. Васька подставил ладонь, слизнул с пальца снежинку и сообщил, что хочет мороженого.

— А еще что? — спросил Лапшин.

Они шли рядом, оба высокие, широкоплечие, в хорошо пригнанных шинелях, и чувствовали, что проходим приятно на них глядеть.

— Надо жениться, — вдруг задумчиво сказал Лапшин. — Пора, Васька...

И Окошкин не понял, про кого говорил Лапшин: про самого себя или про него.

Когда Ваську принимали в партию, Лапшин выступил с большой речью, и Окошкину стало не по себе, до того подробно и точно

Лапшин рассказал о нем.

Поздно ночью они вместе возвращались домой, и Лапшин, попыхивая папироской, назидательно говорил:

— Я тогда в первой бригаде работал. Вызвали меня на двойное самоубийство. И что бы ты думал? Женщина и мужчина, уже не очень молодые, отравились. Какая-то у них там любовь была, в высшей степени сильная...

— Ну и что? — спросил Васька.

Лапшин молчал.

— Вы к чему это? — спросил Васька. — Чтобы я тоже тово?

— Глупый ты, Васька, человек! — с неудовольствием сказал Лапшин. — Дурак ты!

Ужиная картофельным салатом и ложась спать, Лапшин молчал, и Васька слышал, как он долго и печально вздыхал и как трещали и щелкали пружины матраца под его грузным телом, когда он ворочался.

Потом наступило лето, и Лапшин один, без Васьки, уехал отдыхать.

Санаторий был небольшой, белый, весь в зелени, под красной черепицей, и стоял на обрывистом берегу над морем. День и ночь бились в берег волны, и Лапшину казалось, когда он лежал в шезлонге, или гулял, или взвешивался на весах, что это вовсе не волны, а далекая канонада, что там идет война, а он, Лапшин, просто поправляется в тылу, в лазарете, и вот уже скоро совсем поправится и тогда поедет на фронт к своим товарищам.

И оттого, что он был не в лазарете и не испытывал никаких страданий, и оттого, что пушки не палили и ему не надо было ехать на фронт, ему было и покойно, и весело, и немного досадно.

«Баринoм живу, — думал он о себе, — жирный стал гусак, цветную капустку ем...»

Он очень подружился с одним знаменитым летчиком, и они подолгу молчали, сидя друг против друга в плетеных креслах, или вместе уплывали на час или на два в море. Летчик был лет на семь младше Лапшина и очень боялся людей, боялся потому, что люди часто его узнавали и устраивали ему овации. Тогда он розовел и говорил сдавленным голосом:

— Это ужасно, это ужасно...

И если они шли вместе с Лапшиным, то Лапшин тоже розовел и говорил:

— Да, сложное положение!

Иногда по вечерам летчик надевал лётную форму, а Лапшин — милицейскую, они садились в автобус и ехали в город, оба выбритые, свежие, загорелые, молчаливые и довольные друг другом. Там они ужинали на поплавке, изредка переговариваясь, пили кисленькое вино, ели маслины.

Как-то поздним вечером, когда они играли у себя на бильярде, к летчику приехала жена с сыном, и Лапшин остался один. Жена у летчика была красивая, милая женщина, и Лапшин, слушая, как она напевает в соседней комнате или, смеясь, разговаривает с мужем,

испытывал мучительное чувство неопределенной тоски. Он курил, шел купаться, долго бродил по горам, уставал, — тоска не исчезала. Однажды, проснувшись среди мерной и душной ночи, он почувствовал, что глаза его мокры, и понял, что плакал во сне. Он встал, зажег свет, вкрутил папироску и сидел на кровати с зажженной спичкой в пальцах, пока она не догорела и не обожгла руку. Было стыдно, он даже попробовал побранить себя и подумать, что разжирел и обленился, но из этого ничего не вышло. Он вышел на балкончик и долго слушал, как грохочут внизу волны и как кричит в кустах птица.

Утром с Бобкой — сыном летчика — он пошел купаться. Накануне Бобке исполнилось шесть лет. Он был мал ростом для своего возраста, молчалив и очень ласков. Его стригли под машинку, но спереди у него была шламовая чёлка, и с этой чёлкой он напоминал девочку. Лапшин не умел обращаться с детьми, не знал, о чем с ними говорить, и так как слышал, что с ними надо держаться как со взрослыми, то был с Бобкой суровее, чем следовало.

Они шли вниз к морю по дорожке, вырубленной в скалах и посыпанной гравием, и Лапшин говорил Бобке про войну. У Бобки были новые сандалии, полученные ко дню рождения, и подошвы все время скользили, так что Бобка очень часто как бы вылетал ногами вперед, и тогда Лапшин, державший его за руку, ставил его на дорожку и советовал:

— Держись за воздух!

Бобка смотрел на Лапшина и вовсе не глядел на дорогу. Он был некрасив лицом — весь в отца: такие же веснушки, и такой же картофелиной нос, и такая же форма головы, но глаза у него были чудесные, материнские, с мягким блеском и с постоянным внимательно-удивленным выражением. И рот был тоже материнский — большой и лукавый.

— Вот, брат, Борис Антонович, — говорил Лапшин, сжимая в своей ладони горячее Бобкино запястье, — виды у них на нас какие? Виды такие: они хотят ударить по Балтийской зоне. Ты знаешь, что такое зона?

— Зона — знаю, — сказал Бобка, — а Балтийская — не знаю.

Лапшин объяснил ему и стал рассказывать дальше.

— Фашисты? — спросил Бобка.

— Ну да! Эта часть границы, — говорил Лапшин, — составляет около 550 километров. Здесь проходит путь на Ленинград, в этом и есть стратегическое значение удара сюда.

— Погодите-ка! — сказал Бобка. — У меня камень в сандаля попал.

— Ну вынь! — сказал Лапшин.

Бобка сел на дорожку, сиял сандалии с тем выражением поглощенности своим делом и необыкновенной важности своего дела, которое бывает только у детей, вытряхнул из сандалии камень, обулся и встал. И пока Лапши и смотрел в затылок мальчика, ему казалось, что это его сын.

Они дошли до моря, и здесь Лапшин, стыдясь себя, своего неумения и, главное, того, что ему хотелось так поступить, снял сам с Бобки сандалии, штаны и, пощекотав у него за ухом, сказал:

— Ну, кидайся!

— Зачем же вы меня раздели? — спросил Бобка. — Разве ж я сам не умею? Мама меня заругает, что вы меня раздевали.

— А мы маме и не скажем! — басом сказал Лапшин. — Ладно, хлопче?

И он слегка порозовел, оттого что сказал, «хлопче» и «мы» и оттого что сам почувствовал, как лжива вся фраза.

Они долго купались в зеленой и соленой воде, и Лапшин не плавал вовсе, а вместе с Бобкой барахтался у берега, кидал в Бобку мокрым песком, а потом внезапно соскучился, завял и сказал Бобке, что пора домой.

Назад они шли молча; Бобка от купания разомлел и еле тащился, повиснув на руке Лапшина, а Лапшин думал о том, что пора ехать в Ленинград и что здесь от безделья можно, чего доброго, и вовсе свихнуться.

Через три дня летчик с семьей уезжал в Москву. Было утро солнечное, свежее и ветреное, и Лапшин встал раньше всех в санатории. У него был казенный костюм — белые штаны, белая курточка, шлепанцы и дурацкая шляпа пирожком — тоже белая. Умывшись, он оделся в этот костюм, но потом раздумал и надел форму. Никто еще не встал из отдыхающих, и только помощник повара Лекаренко стоял и курил на крыльце.

— Уезжаете? — спросил он негромко, и голос его далеко разнесся в утреннем воздухе.

— Нет, — сказал Лапшин, — знакомые уезжают.

— Бобочку будете провожать? — поощрительно сказал Лекаренко и вынес Лапшину на блюде костного мозга, соли и хлеба.

— Покушайте пока что до чаю, — сказал он. — Дюже можете заголодать!

Лапшин поел и пошел к морю один, размахивая отломленной веткой орешника. Сапоги его блестели, и весь он представлялся себе уже городским и лишним среди олеандров, пальм и кипарисов. И ремень на нем был тугой, и усы он подстриг коротко, как в городе. «Надо работать, — думал он, — надо уезжать и дело делать!»

Он вернулся к дому. Там еще никто не встал, было совсем рано, шестой час. Уши у него горели, и сердце билось так сильно, что он не поднялся на террасу, увитую плющом, и посидел внизу на каменных ступеньках.

Сверху, на втором этаже, раскрылось окно. Он поглядел туда и увидел и увидел Женю — мать Бобки. Она тоже заметила его, сделала удивленные глаза и показала рукой, что сейчас спустится вниз. Лапшин вдруг обрадовался и пошел к ней навстречу на террасу.

— Что это вы ни свет ни заря? — говорила она, пожимая его руку, — Это только мой муж в три часа на полеты на свои подскакивает как заведенный...

Она зевнула и поправила волосы, едва заколотые и развалившиеся оттого, что, зевнув, она тряхнула головой.

Лапшин молчал.

— Вот мы и уезжаем, — сказала она, глядя на море, — Пора.

— И я скоро, — сказал Лапшин.

Они сели на ступеньку и поговорили о Бобке, о дальних перелетах, о погоде в Москве.

— Надо вещи складывать, — сказала Женя, — а мой мужик спит, и жалко его будить.

— Давайте я вам помогу, — предложил Лапшин. — Пусть спит!

Они пошли в маленькие сенцы перед той комнатой, в которой жили Бобка, Женя и летчик, и Женя вынесла из комнаты груды вещей, взятых из ящика, чемодан, портплед и корзинку. Пока она во второй раз ходила в комнату, Лапшин открыл чемодан, вытряхнул его и стал

выбирать из кучи вещей, сваленной на пол, на газеты, только мужские вещи — белье, носки, фуфайки, брюки, причем белья и одежды Жени он старался не касаться.

От сидения на корточках у него затекли ноги, и он сел просто на пол, на газету. Женя похвалила его работу и сказала, что так укладывают только мужчины, воевавшие войну, и что ее муж тоже так укладывает вещи. Она села с ним рядом и в другой чемодан стала складывать свои вещи.

— А вот это не надо, — сказала она, — бритвенный прибор не надо. Он в дороге бреется и будет меня прорабатывать, если эти штучки мы запрячем...

Она вытащила назад прибор, и Лапшин с грустью подумал, что никто не знает, как и где он бреется и какие у него привычки, и что за всю жизнь ему никто и никогда не укладывал вещей. И как всегда, когда ему бывало грустно или не по себе, он, затягивая ремнями чемодан, сказал веселым, гудящим басом:

— Все в порядочке!

— А вы женаты? — спросила Женя, точно отгадав его мысли.

— Убежденный холостяк, — сказал он тем же басом. — Ну вас всех!..

Потом проснулся летчик, и они вдвоем посидели с ним в плетеных креслах и помолчали.

— Вот, брат Иван Михайлович, — сказал летчик на прощание, — мы с тобой тут ничего пожили, хорошо... Действительно, всесоюзная здравница!

И он отвел от Лапшина глаза так, как будто сказал нечто слишком задушевное, даже сентиментальное.

Он был уже в форме, затянутый, невысокий, с широкими, развернутыми плечами и открытым взглядом зорких глаз. Весь санаторий провожал отъезжающих, и все окружили закрытый автомобиль, в котором уже сидели Женя и Бобка. И чемодан, увязанный Лапшиным, был виден сквозь стекло. Пока летчик пожимал руки провожающим, Лапшин переглядывался с Бобкой издали, потом подошел к самой машине и сказал:

— Ну, будь здоров, Борис!

— До свидания! — сказал Бобка отсутствующим голосом. Он был уже занят автомобилем и отъездом, и, в сущности, он даже уже

уехал.

— Учись хорошенько в школе, — сказал Лапшин. — Расти большой!..

Наконец автомобиль тронулся. Не глядя ему вслед и не помахав рукой, Лапшин ушел к себе в комнату и до обеда пролежал в сапогах на постели, отвернувшись к стене, а весь вечер писал письма в Ленинград: Ваське Окошкину, Ашкенази, начальнику — всем. И письма были грустные, и все, кто их получал, понимали, что Лапшин тоскует.

Больше он уже не надевал белый казенный костюм, а ходил с утра до ночи в сапогах и в ремнях и думал о Ленинграде, о работе, о Ваське Окошкине и о том, что надо заняться культурой с ребятами из своей бригады. И с аппетитом он думал о дождике и тумане, о кабинете, к которому привык, и о том, как, приехав, прямо с вокзала он вызовет свою машину, явится к начальству и начнет работать так, как работал всю жизнь.

«Да, да, — думал он, — довольно! Хватит!»

И раздраженными глазами смотрел на гладкое, замерзшее зеленое море, на желтый песок и на белые, увитые плющом стены санатория, ослепительно сверкающие на ярком южном солнце. Ему хотелось уехать, не кончив срока, и он не уезжал только потому, что был дисциплинирован и считал, что раз его государство послало отдыхать, то он должен это делать как следует.

В Ленинграде на вокзале его встречал Васька Окошкин, приехавший в автомобиле. Моросил дождь, и все было так, как Лапшин мечтал.

— У нас холода, — говорил Васька. — Я еле на потах держусь, застудился.

Дома они пили чай с рогульками. Патрикеевна гневно молилась в нише. Зашел Ашкенази, потом позвонил телефон, и Лапшин очнулся только на другой день к вечеру, — так внезапно и круто захватила его работа. И он был счастлив, глядя в окно на асфальт площади Урицкого, пузырящийся под дождем, был счастлив, разговаривая с прокурором о деле, был счастлив, распекая Побужинского и говоря ему громко и отрывисто:

— Работа спасает от всего, это извольте знать! У вас умер брат, я все это понимаю и готов вам помочь всем тем, что в моих силах. С

братом вы вместе росли и вместе жили, все понимаю. Но он умер, а вы ничего решительно не делаете, — это мне непонятно. Чем больше вы будете работать, тем лучше и легче вам будет. Поверьте мне! Ваш брат был честным и горячим работником, и хотя бы в его честь вам не следовало так запутывать и запускать свои дела. Самое же главное не в этом, а в том, милый человек, что вначале у вас действительно было горе, а сейчас вы просто разленились и на своем горе спекулируете. Это дело надо бросить и надо как следует за работу взяться. С сегодняшнего дня извольте каждое утро являться ко мне с докладом!

После он допрашивал старого своего «знакомого», вора-рецидивиста Сашеньку и пил чай. Сашеньку взяли минут двадцать назад в трамвае. Он был великолепно одет и курил дорогую толстую папиросу.

— И не стыдно тебе, Саша? — говорил ему Лапшин. — Смотри, как нехорошо получается! Все тебя водят ко мне и водят. Покажи-ка, зубы, что ли, золотые вставил?

Сашенька оскалился и сказал, пуская дым ноздрями:

— Двадцать семь штук. Невиданная вещь!

— Гуляешь? — спросил Лапшин.

— Сейчас именно я лично гуляю, — сказал Сашенька. — Вот несколько приоделся.

Он развел полы пальто и показал великолепный шоколадного цвета костюм.

— Хорош? — спросил он.

— Чудный, — сказал Лапшин.

— А вы как живете? — спросил Сашенька. — Все работаете?

— Да, как видишь, помаленьку работаю.

— И ни сна, ни покоя, ни грез золотых? — продекламировал Сашенька. — И ни знойных, горячечных губ?...

— Это кто сочинил? — спросил Лапшин.

— Я.

— А магазин на Большом не ты брал?

— А вы с подходцем! — сказал Сашенька. — Да, гражданин начальничек? — Он помолчал, потом добавил улыбаясь: — Слово жулика — не я!

— А кто?

— Боже ж мой! — воскликнул Сашенька. — Разве ж и знаю?

— А ты чего делал?

— Я церкви закрывал, — сказал Сашенька, — я и еще Пашка Перевертон и Кисанька. Вы Кисаньку знаете? И Пашку вы знаете лично, верно?

— Верно, — сказал Лапшин. — Они у меня сидят.

— Новости! — сказал Сашенька. — Их же на моих глазах брали в магазине! Только они не сознались, а я сознаюсь, ввиду того что хочу бросать свое дело и выходить в новую жизнь...

— Давай признавайся! — сказал Лапшин. — Только быстренько: раз-два...

Он взял лист бумаги и карандаш.

— Писать будете? — спросил Сашенька.

— Буду.

— Ну ладно, — сказал Сашенька и облизал губы, — раз так, то пишите.

— Без трепотни?

— Что ж, я не вор, чтобы я вам трепался! — обиженно сказал Сашенька. — Что мы, мальчики тут собрались? Когда хочу — говорю, когда не хочу — не говорю.

Он закурил новую папиросу, попросил разрешения снять пальто и, внезапно побледнев, рубанул в воздухе рукой и сказал:

— Амба! Пишите, кто магазин на Большом брал. И адрес пишите, где ихняя малина. Пишите, когда я говорю! И когда они меня резать будут, и когда вы мое тело порубанное найдете, чтобы вспомнили, какой человек был Сашенька. Пишите! Я нервный человек, я психопат, но я для вас раскололся, потому что таких начальничков дай бог каждому... Пишите!

Он рассказывал долго и курил папиросу за папиросой. Потом спросил:

— Пять лет получу по совокупности?

— За старое. А новое я еще не знаю.

— Пишите новое! — сказал Сашенька. — Располагайте мною!

И он стал рассказывать, как они втроем с Перевертоном и Кисанькой взламывали в деревнях церкви и сдавали в приемочные пункты Торгсинов ценности...

— Была у нас карта старинная, — говорил Сашенька, — с крестиками, где церкви. Ну мы и работали! С одной стороны,

ценности государству сдавали — польза. С другой стороны, когда мы церковь опоганим, ее поп больше не освящает, не решается. Сход не велит. К свиньям, говорят, твое заведение! Тоже польза. Верно?

— Ты мне голову не крути! — сказал Лапшин. — Я тертый калач.

— Дай бог! — сказал Сашенька. — Таких других поискать...

— И хвостом не виляй! — сказал Лапшин, — Не надо. Будь человеком!

Сашенька покраснел.

— Это верно, — тихо сказал он, — Можно идти?

— Нет, нельзя.

Едва Лапшин отпустил Сашеньку, явился Васька Окошкин, сконфуженный, в мокром плаще, и долго что-то мямлил, настолько путаное и непонятное, что Лапшин рассердился и шлепнул ладонью по столу.

— Что у вас за каша во рту? — крикнул он. — Извольте докладывать толком или идите!

— Тамаркин проворовался, — сказал Васька, — он в артели работал, так украл, собака, мотор и продал другой артели...

— Какой Тамаркин? — спросил Лапшин.

— А который у вас был на дне рождения. Который врал чего-то про самолеты. Помните? Несерьезный такой парень, пижон такой...

— Ну?

— Ну и проворовался.

— Так я-то здесь причем?

— Его сажать надо, — сказал Васька, — а мне как-то неловко. Может, вы кого другого пошлете?

— Нет, тебя, — сказал Лапшин. — Именно тебя.

— Почему же меня?

— А чтобы знал, с кем дружить! — краснея от гнева, сказал Лапшин. — «Некто Тамаркин» и «некто Тамаркин», а Тамаркин — ворюга...

Краснея все больше и больше и шумно дыша, Лапшин смял в руке коробок спичек, встал и отвернулся к окну.

— Ну тебя к черту! — сказал Лапшин, не глядя на Ваську. — Пустобрех ты какой!.. Поезжай и посади его, подлеца, сам, и сам дело поведешь, и каждый день мне будешь докладывать...

— Слушаюсь! — тихо сказал Васька. — Можно идти?

— Посто́й ты! Откуда он у тебя взялся-то?

— Ну чтоб я пропал, Иван Михайлович, — быстро и горячо заговорил Васька. — Учились вместе в школе, потом я его встретил на улице, обрадовался, — все-таки детство...

— Детство! — передразнил Лапшин. — Дети! И на бюро парткома о своих друзьях расскажешь. Дети — моторы красть! Возьми машину и поезжай, а то он еще там наторгует! Ребятишки у него есть?

— Нет.

— А жена?

— Тоже нет, официально.

— Подлец какой!

— Да уж, конечно, собака! — сказал Васька примирительным тоном. — Я и сам удивляюсь.

— Тебя не спрашивают! — крикнул Лапшин. — Никто тебя не спрашивает, удивляешься ты или нет. Поезжай сейчас же!

И он с силой захлопнул за Васькой дверь.

Тамаркин служил электротехником в переплетной артели «Прометей» и еще в двух артелях по совместительству, и Васька Окошкин едва его нашел. Они столкнулись в маленьком коридорчике, заваленном картоном и штуками коленкора, причем не Окошкин остановил Тамаркина, а Тамаркин Окошкина.

— Здорово, Окошкин! — крикнул Тамаркин и толкнул Ваську ладонью в грудь. — Меня ищешь?

Он протянул Ваське руку, и Васька от растерянности пожал ее.

На Тамаркине была отглаженная и накрахмаленная синяя прозодежда и под ней рубашка и великолепный галстук. На шее он для щегольства имел белое шелковое кашне.

«Приделся, собака, — рассеянно отметил Окошкин, — и брючки в полосочку пошил».

— А ты все в милиции да в милиции! — болтал Тамаркин. — Жизни не видишь... Пойдем, я тебя запеканкой угощу, здесь сегодня на завтрак макаронная запеканка...

Рядом, за тонкой фанерной стеною, грохотала какая-то машина, и шипел и шлепал приводной ремень.

— Ты что слушаешь? — спросил Тамаркин. — Это наша индустрия...

Он засмеялся, а Васька вдруг вспотел от злобы и отчаяния. «Все разворует, — с ужасом думал он, — картон вынесет, коленкор украдет!»

— Какой-то ты странный, — сказал Тамаркин. — Побрился бы... Хочешь, я тебя с техноруком познакомлю?

— Нет, — дребезжащим голосом сказал Васька, — я за тобой приехал. Ты арестован.

И, вынув из бокового кармана ордер, он протянул его Тамаркину, чтобы тот мог прочесть. Тамаркин сразу пожелтел.

— С ума сойти! — сказал он, подымая плечи. — За кого ты меня считаешь?

На обыске в квартире Тамаркина Васька еще раз понял, что Тамаркин вор. Он понял это по тем вещам, которые были в комнате у

Тамаркина, по костюмам, по фотоаппарату, по радиоприемнику, по деньгам, которые лежали в письменном столе, по пишущей машинке.

— Зачем вам пишущая машинка? — не выдержав, сказал Васька. — Что вы, писатель?

Толстая мадам Тамаркина, которая плакала, стон у двери, крикнула:

— Странно, почему машинка привлекла ваше внимание? Почему вы не интересуетесь моим бельем?

— Оставьте, мама! — крикнул Тамаркин с дивана. — Что за остроты!

И, клацая зубами, он спросил, обращаясь к Окошкину:

— Скажите, Вася, я могу еще покушать напоследок?

Окончив обыск, Окошкин аккуратно запечатал комнату Тамаркина и суровым голосом сказал:

— Можете прощаться!

— За что? — спросил Тамаркин в машине. — Что я сделал?

Васька молчал и глядел в окно.

— Тогда берите товарища Магазионера тоже! — сказал Тамаркин. — И Солодовника. В чем дело?

— Возьмем, — сказал Васька, — тебя не спросим.

Ему очень захотелось ударить Тамаркина в ухо, но он сдержался и закурил.

— Мы все-таки с вамп сидели на одной парте, Вася, — сказал Тамаркин, — это не надо забывать.

— Никогда я с вами на одной парте не сидел, — сказал Васька. — Я с Жоркой Карнауховым сидел и с Перепетуем. Нечего врать!

Потом, сдав Тамаркина, Окошкин явился к Лапшину и доложил. От Лапшина он сбегал к врачу — измерил себе температуру. Было тридцать восемь с лишним, и в горле оказались налеты.

— Надо идти домой, — сказал врач. — В постель!

Почесав пером густую бровь, он написал рецепт и сказал:

— Это микстурка. А это — полоскание. Так-то!

Щеки у Васьки горели, и по спине пробегал неприятный холодок. Но он был весел, до самого вечера работал и так шумел, что Лапшин ему сказал:

— Чего ты трескотню поднял? Потихе нельзя?

Ночью он бредил, а Лапшин и Ашкенази играли в шахматы, заставив лампу книгой, и Ашкенази говорил:

— Не понимаю я вас, Иван Михайлович! Зачем вам понадобилось посылать его за Тamarкиным? Он молод, это его школьный товарищ. Не понимаю.

— Ничего, злее будет! — сказал Лапшин.

Ашкенази сложил губы трубочкой, немного посвистел, помотал конем над доской и усмехнулся.

— Когда я болел сыпным тифом, — заговорил он, не глядя на Лапшина, — то все время бредил знаете чем? Тем, что свет какой-то там звезды долетает до нас через две тысячи лет. Это неприятно, правда?

— Почему же неприятно? — спросил Лапшин. — Пусть себе!

— Врешь, — с постели крикнул Васька, — врешь, собака, врешь! На тормозной площадке.

— Разбирает парня, — сказал Лапшин и внимательно поглядел на Ваську.

Из управления Лапшин два раза звонил по телефону домой, и оба раза ему отвечал Васька.

— А ничего! — говорил он. — Вполне прилично. Патрикеевна компоту наварила такого гадкого, что мочи нет.

День был горячий. Лапшин ездил в суд, потом допрашивал растратчиков, потом ходил с докладом к начальнику, потом читал лекцию в школе начальствующего состава милиции. Он любил преподавание, любит свою профессию, был отличным практиком своего дела, и лекции ему всегда удавались. После лекции было много вопросов, и так как его лекцией кончался учебный день, то он предложил еще поговорить с полчаса. Руки у него были в мелу, он чувствовал себя разгоряченным и чувствовал, что говорит отлично и что между ним и аудиторией существует тот контакт, который позволяет ему уже не оживлять лекцию прибаутками и шуточками, что каждое его слово и без того берется на лету и достигает желаемого эффекта, и чувствовал, как напряжены и взволнованы слушатели.

— Вот вам обстоятельства дела, — говорил Лапшин, постукивая мелом по доске и любуясь схемой, которая тоже выходила удачной и

четкой. — Понятна схема?

Аудитория одобрительно загнула.

— Таким образом, — поворачиваясь к аудитории и щегольским жестом бросив мел, заговорил Лапшин, — таким образом, мы, следователи, оказались в глупейшем положении. Верно? А инженер продолжает ходить ко мне, волнуется, плачет. Я его отпаиваю водой и вообще чувствую себя плохо. Что я ему скажу? И вот однажды, чуть ли не во время шестого посещения, я пляжу на него и думаю: «Слабый, ничтожный человек, а какую деятельность развел вокруг смерти своей жены! Как угрожает, как кулаком стучит!» Взглянул ему в глаза. Взглянул и ясно вижу — в глазах у него выражение ужаса, истерического ужаса. И тут меня, как говорит, осенило. Он, думаю, он самый. Сижу, слушаю, как он мне грозит, и как поносит следственные органы, и как ругается, а сам в уме прибираю хозяйство свое, и обстоятельства дела, и спорю сам с собою, и, еще не доспорив и не довыяснив, негромко говорю ему: «А не вы, простите за нескромность, убили свою жену?» У него даже пена на губах. Вскочил, ногами топает: «Я в Москву поеду, я вам покажу, меня тот-то знает и тот-то, вам не место здесь!» Прошу учесть, товарищи, основное положение того, что я вам рассказываю: не имея улики, я знал только одно — что инженер мой слабый и ничтожный человек и что именно такие люди в подобных ситуациях поступают так. Но, не имея улики, я не мог его посадить и вел дело почти в открытую...

Вместо двадцати минут Лапшин проговорил час с четвертью, и все-таки его не отпускали. Он еще долго стоял в кольце слушателей и долго отвечал на вопросы, а потом все провожали его по коридору, потом по лестнице, потом до раздевалки. Застегивая крючки шипели, он говорил:

— Разъедитесь к себе, во всех затруднительных случаях — пишите. Я с удовольствием буду отвечать, а найду возможным и целесообразным — приеду. Главное же — не думайте, что обратиться ко мне за помощью значит признать себя побежденным...

Уже было девять часов вечера, и Лапшин зашел на минуту к себе в кабинет, чтобы подписать бумаги, и сел в кресло, не снимая шипели. Но ему позвонил адъютант начальника и сказал, чтобы он не уезжал, так как начальник сейчас беседует с артистами и собирается вместе с ними к Лапшину.

Досадливо поморщившись, Лапшин сбросил шинель, зажег бронзовую люстру, которую зажигал в особо торжественных случаях, и, сделав напряженное лицо, стал читать уже прочитанную сегодня газету. От голода у него бурчало в животе, и от предстоящего разговора с артистами он испытывал неловкость и заранее раздражался на те глупые вопросы, которых ожидал.

Первым, поскрипывая сапогами и ремнями, блестя стеклами пенсне и официально покашливая, вошел начальник, за ним шли артисты. У начальника на лице было то плутовато-суровое выражение, которое всегда появлялось у него в подобных случаях и которое означало, что хоть мы и не Пинкертон, но найдем что показать. Артисты же держались робко и с таким видом, будто входили в комнату, где могло быть все решительно, начиная с трупа, злодейски разрезанного на куски, и кончая взрывчатыми веществами.

Пожав Лапшину руку во второй раз (они уже виделись сегодня) и предложив артистам садиться, начальник закурил прямую английскую трубку и, расхаживая по комнате с трубкой, зажатой в кулаке, стал говорить о том, что он привел их к Лапшину не случайно, а привел их потому, что Лапшин — старейший работник розыска, и не только старейший, но и опытнейший...

— В нашем деле, — говорил он, живо блестя стеклами пенсне, — как и в вашем, товарищи, необходимы не только опыт и настойчивость, но еще и талант. Товарищ Лапшин — талантливый работник, очень талантливый и очень настойчивый.

Лапшину от этих похвал стало жарко, и, не зная, что делать с собою, он деловито потушил и опять зажег настольную лампу.

Вот видите, как стесняется! — сказал начальник, — и артисты засмеялись, а Лапшину вдруг стало стыдно за начальника и за его тон, и за трубку, которую он никогда раньше не курил, а теперь почему-то закурил.

Он по-прежнему стоял возле своего кресла и по-прежнему курил дешевую папиросу, но теперь он уже не стеснялся больше и в упор разглядывал артистов, своими некими ярко-голубыми глазами. Никто из них ему не нравился: ни красивый молодой артист, снявший широкополую серую шляпу и отиравший подбритый лоб платком; ни старуха с двойным подбородком и вежливо-безразличными глазами; ни еще один молодой, но уже лысый артист, все время кивающий

яйцеобразной головой; ни тучный благообразный старик в крагах; ни молочая артистка с рыжими волосами, с очень белой шеей и ярко накрашенным большим ртом. В каждом из них было нечто нарочитое, подчеркнутое и раздражающее, такое, что заставило Лапшина с досадою подумать: «Эх, пижоны!» И только одна девушка привлекла его внимание. Она сидела сзади всех, и вначале он даже ее не увидел, — так скромно, по сравнению со всеми, она была одета и так незаметно держалась: ни головой не кивала, не смеялась, не говорила: «Это интересно!», или «Да, да!», или «Черт знает что!». Она сидела за спиною старухи с двойным подбородком и, вытянув свою топкую шею, следила за всем происходящим с испуганно-внимательным видом. Она была в берете и шубе из того некого меха, про который обычно говорят, что он тюлений, или телячий, или даже почему-то кабардинский, и который в дождливую погоду просто воняет псиной. Из-под собачьего воротника у нее выглядывал голубой в горошину платочек, и этот платочек вдруг очень понравился Лапшину.

Когда начальник неуверенно-свободным голосом стал рассказывать о преступлениях годов нэпа и сказал: «Это жуткая драма», — артистка в берете, так же как Лапшин, от неловкости опустила глаза.

Покуривая и слушая начальника, Лапшин смотрел на артистку, видел ее круглые карие глаза, вздернутый нос и думал о том, что если ему придется говорить, то говорить он будет ей и никому другому, разве что еще низенькому старику с большой нижней челюстью, который сидел рядом с ней и порой что-то ей шептал, вероятно смешное, потому что каждый раз она улыбалась и наклоняла голову. «Он с ней вдвоем против всех, — с удовольствием подумал Лапшин. — Злой, наверно, старикан!» И он вспомнил фамилию старика и вспомнил, что видел его в роли Егора Булычева, и вспомнил, как хорошо играл старик.

Наконец начальник попрощался и ушел.

— Товарищ Лапшин обеспечит вам помощь и руководство, — сказал он в дверях, — прошу адресоваться к нему!

Артисты по-прежнему сидели у стен. Лапшин потушил окурок, сел в свое кресло и негромко, глуховатым баском, спросил:

— Я не совсем понимаю, чем могу вам помочь. Может быть, вы расскажете?

Тогда взял слово молодой артист в кепке особого фасона и с очень страдальческим и изможденным лицом и стал рассказывать содержание пьесы, которую театр ставил. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении четырех действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера — числом более семнадцати — и какими они хорошими людьми сделались после перестройки. Как ни внимательно вслушивался Лапшин в путаную и вялую речь артиста, он так и не понял, когда же и отчего перестроились все эти люди. Кроме того, артист рассказывал с большим трудом и стесняясь, — с ним происходило то, что происходит с каждым непрофессионалом, рассказывающим профессионалу, — он путался, неумело произносил жаргонные слова и часто повторял: «Если это вообще возможно». Очень раздражал Лапшина также и полупонятный лексикон артиста, например: «На сплошном наигрыше», или: «Это крепко сшитый эпизод», или: «Формальные искания завели нас в тупик, и мы пошли по линии...»

— Понятно! — сказал Лапшин, хотя далеко не все было ему попятно. — Но я вас должен предупредить, что вы не очень правильно ориентированы...

Он наморщил лоб, взглянул на артистку в берете и на старика и понял, что они довольны его тоном и что они ждут от него каких-то очень важных для них слов. У артистки глаза стали совсем круглыми, а старик с ханжески-скромным видом жевал губами. Глядя на старика, Лапшин продолжал:

— Уж не знаю, откуда эти идейки берутся, но они неверны. Вот я по вашим словам так понял, что все эти и проститутки, и марвихеры, и жулики с самого начала чудные ребята и только маленечко ошибаются. Это не так. Это неверно. Вор в советском государстве — не герой. Это в капиталистическом государстве могут найтись... люди (он хотел сказать «дураки», но постеснялся и сказал «люди»), люди, — повторил он, — которые считают, что вор против собственности выступает и потому он герой, а у нас иначе. Ничего в этом деле ни героического, ни возвышенного нет, — сказал Лапшин, раздражаясь, — поверьте мне на слово, я этих людей знаю. Вот у нас в области один дядя Пава украл из колхоза семь лошадей и сделал контрреволюционное дело. Мужики из колхоза разбрелись и говорят:

«Не были мы колхозные — и лошади были, а стали колхозные — и лошадей нет». Я дядю Паву поймал и посадил в тюрьму, и дядя этот, оказалось, работал не от себя, а от целой фирмы. Сознался. Воры — парод неустойчивый, их легко можно купить. Вот Паву-то кое-кто и купил...

— Пьеска прелестная, — вдруг сказал старик, — необыкновенно грациозно написанная и колоритная и все такое, и даже проблемная в том смысле, что там жулики куда интереснее порядочных людей...

Он закашлялся и сказал лживо-взволнованным голосом:

— Побольше бы таких пьес!

Рыжая актриса огрызнулась, и Лапшин опять подумал, что тут происходит бой.

— Это, конечно, и к проститутке относится, — вновь заговорил Лапшин, — и ко всем решительно. Безработицы у нас нет, основная база этого ремесла разрушена. Все остальное — психология. Мало ли там слабых и психически неустойчивых? Эдак любую, самую невероятную, подлость оправдать можно. Дескать, неуравновешенный. Мне дела, знаете ли, нет, кто мне горло перерезывает: уравновешенный или неуравновешенный. Ежели не болен, то и отвечай по-нашему, по-советскому, по закону. Верно я говорю?

— Верно! — сказал толстый старик и захохотал, трясая головой. — Верно, батенька, я сам с шулером на Волге играл, и тот из меня три тысячи двести рублей кровных сбережений вытянул. Не могу я симпатягу из шулера разыгрывать, коли мне до сих пор тошно, как вспомню. Я лучше сам себя сыграю, какой я был в те поры хороший и чистый.

Все засмеялись, и Лапшин сказал улыбаясь:

— Правильно, конечно. Прожили мы почти двадцать лет, нечего валять дурака. Сидит у меня сейчас один мальчик — Карлуша Гринблат. Из хорошей рабочей семьи, а сам прохвост, начал свою деятельность с того, что воровал в годы первой пятилетки баббит с завода. Не хватало ему на «красивую» жизнь. Ну и что, ну и не хватало, так сейчас бы хватило. Для него, дурака, старались, верно? Так ведь что? «Во мне, говорит, проклятое прошлое!» Как вам правится? — А ты, спрашиваю, это прошлое видел? Когда

Октябрьская революция ударила, ты еще в Африке вороной летал. — Молчит.

Лапшин выжидательно оглядел артистов. Все молчали, и Лапшин ясно понял, что все то, о чем он говорил, артистов не устраивало по каким-то причинам, ему неизвестным. Довольными были только девушка в берете и старик артист с большой нижней челюстью, который сидел рядом с нею.

— Так-то! — среди общего молчания сказал старик, — Выходит, что мы с Адашовой правы, а не Викентий Борисович.

Завязался вдруг непонятный Лапшину спор. Все набросились на старика с челюстью, и Лапшин с досадой думал о том, что это совершенно его не касается, что он хочет есть и спать.

Когда спорить перестали, ему уже было лень говорить. Он встал и сказал, что кто из товарищей хочет поближе познакомиться с делом, тот может заходить к нему в любое время, разговаривать же на общие темы, по его мнению, не стоит.

Все начали говорить, что на общие темы тоже чрезвычайно интересно и что они уже многое получили и пусть Лапшин еще побеседует.

Зазвонил телефон.

— Так вот, товарищи, — сказал Лапшин, переговорив и вешая трубку, — я должен только добавить несколько слов по поводу того, что называется в просторечии перестройкой...

И, посасывая зажеванный мундштук потухшей папиросы, он деловито и коротко заговорил о том, что в перестройке основным является профессия, что людям дают профессию и таким путем превращают их из люмпенов в трудящихся.

— Затем дело, работа, — говорил он, — строится канал или плотина — люди видят плоды своих рук...

Вынув связку ключей, он открыл шкаф и достал оттуда свою гордость — большие, унылого вида альбомы с фотографиями.

— Поглядите! — говорил он небрежным тоном. — Тут у меня кое-что собрано, я лет пятнадцать собираю...

И, раздав на руки альбомы, он с тревогой следил, как бы не выпала и не затерялась фотография, как бы кто-нибудь не поцарапал эмульсию на карточках, как бы не перегнули листа...

— Это все мои крестнички, — говорил он, наклоняясь над артисткой в берете и над стариком, который с довольным лицом потирал свой длинный подбородок. — Но тут просто портреты, а вот этот альбом куда занятнее...

И придвинув одним движением своей сильной руки тяжелый, из дуба, столик, он раскрыл на нем папку и стал показывать фотографии, поглядывая то на Адашову, то на старика с тем выражением глаз, которое бывает у художников, показывающих свою картину.

— Тут, знаете, мы кой-чего разыграли, — говорил он, — такие как бы живые картины. Это все сотрудники наши изображены. Это, например, разбойный налет. А это, знаете ли, вон он, лично я в кепке, налетчика изображаю с маузером. Это здесь все точно показано, — говорил он, возбуждаясь от поощрительного покашливания старика, — здесь все как в действительности. А здесь уже показано, как наша бригада выезжает на налет. Тут уже я в форме... А здесь я опять налетчика разыгрываю...

— Чудно! — сказала Адашова и повернулась к нему всем своим улыбающимся и розовым лицом, и он увидел, что щеки ее покрыты нежным пушком.

— Верно, ничего разыграли? — весело и просто спросил он. — Это, знаете ли, в учебных целях, своими силами, а уж мы разве артисты?

— Все очень живо и естественно, — сказала Адашова, — напрасно вы думаете...

— Смеялись мои ребята, — говорил Лапшин, — цирк прямо был...

И, очень довольный, Лапшин завязал папку и стал рассказывать о налете, который инсценировал. Артисты его обступили, и он очень понимал, что им хочется рассказа пострашнее, но врать он не умел, да еще по привычке совсем убирал из рассказа все ужасное и ругал бандитов.

— Да ну, — говорил он посмеиваясь, — так, хулиганье вооружилось. Разве это налетчики?

— А Ленка Пантелеев? — спросил артист с бритым лбом.

— Да ну что! — сказал Лапшин. — Ну бандит... Это все писатели выдумали, нам их не обскакать...

Ему было досадно, что артисты спрашивают о страшном, а не о том, о чем действительно стоит рассказывать и что действительно помогло бы им в будущем спектакле, и он, сделав вежливое лицо, стал забирать и ставить в шкаф свои альбомы и папки.

— А вот скажите, это убийство тройное на днях было, — спросила старая артистка с двойным подбородком. — Как вы себе представляете психологию убийцы?

— Не знаю, — сказал Лапшин. — Бандит еще не найден.

— Ах, так! — любезно сказала артистка.

— Да, — сказал Лапшин, — к сожалению.

Прижав коленкой дверцу, он запер шкаф и остановился посередине кабинета в ожидающей позе.

— А вот скажите, — спросил лысый артист и склонил свою яйцеобразную голову набок, — убийства на почве ревности, страсти роковые вам случалось видеть?

— Случалось, — сказал Лапшин.

— И... как же? — спросил артист.

— Я работаю по преступности много лет, — сухо сказал Лапшин, — мне трудно ответить вам коротко и ясно.

— Ну, спасибо вам! — сказал вдруг тучный артист в крагах и стал пожимать Лапшину руку обеими руками. — Я очень много почерпнул у вас. От имени всего коллектива благодарю вас.

— Пожалуйста! — сказал Лапшин.

Пока они собирались уходить, он открыл форточку, надел шинель и позвонил, чтобы давали машину. Досады и раздражения он уже не чувствовал и, спускаясь через три ступеньки по служебной лестнице, с удовольствием представлял себе Адашову. Машины у подъезда еще не было. Стоя в дверной нише служебного выхода и оглядывая после тяжелого дня огромную, белую от снега площадь, он вдруг услышал голос одного из актеров с досадой говорившего:

— Да полно вам, дурак ваш Лапшин! Чиновник, тупой и человек и грубиян в довершение!..

Мимо табунком прошли артисты, и толстый старик в крагах, тот, что давеча обеими руками пожимал руку Лапшину, брюзгливо говорил:

— Чинуша, чинодрал, фагот!

«Почему же фагот? — растерянно подумал Лапшин. — Что он, с ума сошел?»

Сидя за рулем машины, он по привычке припоминал той разговор с артистами и, только восстановив все до последнего слова, решил, что он был прав, коротко отвечая на пространные вопросы, что отвечать иначе на эти вопросы решительно было невозможно и что психология преступления и все прочие высокие темы не укладываются в вопросы и ответы на ходу, а потому прав он, Лапшин, а не артист в крагах.

«И не чиновник я, — рассуждал Лапшин, — и не чинуша, — это ты врешь. Сам ты, вероятно, чинуша, а я нет. Правда, я грубоватый иногда, но нельзя же такие тупые вопросы задавать! И вообще чудак народ! — неодобрительно, но уже весело думал Лапшин, нажимая кнопку сигнала, — ему очень хотелось проехать между трамваем и автобусом, а автобус не уступал, — чудак, ей-богу, чудак».

И, позабыв о неприятном старике в крагах, он стал думать про Адашову и про то, как она похвалила его фотографии.

Васька от безделья и скуки обзвонил всех своих знакомых и сообщил, что болен, поэтому, когда Лапшин вернулся домой, телефон непрерывно трещал, и Васька живым голосом поминутно с кем-то объяснялся. Пока обедали, Лапшин терпел, потом сказал:

— Довольно! Надоело! Сними трубку!

Он разулся и, наморщив лоб, сел возле радиоприемника. В эфире не было ничего интересного. Женский голос передавал «Крестьянскую газету», потом кто-то сказал:

— Вогульские народные песни, собраны исполнительницей...

— Черта собраны! — сказал Лапшин, но все-таки послушал. При этом у него было плачущее лицо.

Бросите, Иван Михайлович! — крикнул с постели Васька. — Пусть лучше лекцию читают.

Наконец Лапшин услышал, что сейчас будет сыграно действие из какой-то пьесы. Мужской голос с железными перекатами говорил, кто кого будет играть.

— Это про посевы, — сказал Васька, — я уж знаю. В это время всегда про посевы. Один артист будет за корнеплода играть, другой — за подсолнух, третий — за сельдерей...

— Помолчи! — сказал Лапшин..

Тут давеча без вас картошка пела, — не унимался Васька, — так жалобно, печально: «Меня надо окучивать-окучивать...» Не слышали?

— Нет, — сказал Лапшин и лег в постель.

Он любил театр и относился к нему с той почтительностью и серьезностью, с какой вообще относятся к театру люди, не сделавшие искусство своей специальностью. Каждое посещение театра для Лапшина было праздником, и, слушая слова со сцены, он обычно искал в них серьезных и поучительных мыслей и старался эти мысли обнаружить, даже если их и вовсе не было. Если же их никак нельзя было обнаружить, то Лапшин сам выдумывал что-нибудь такое, чего хватило бы хотя на дорогу до дому, и рассуждал сам с собой, шагая по улицам. И как многие скромные люди, он почти никогда не позволял

себе вслух судить об искусстве и если слышал, как его товарищи толкуют о кинокартине, книге или пьесе, то обычно говорил:

— Много мы, ребята, что-то понимать стали! А? Грамотные, умные! Ты поди сам книгу напиши, а я погляжу...

Но огромный жизненный опыт и знание людей волей или неволей научили его отличать жизненную правду от подделки ее искусством, и он знал и любил то ни с чем не сравнимое чувство острой радости, которое возникало в нем при соприкосновении с подлинным искусством. Тогда он забывал о мыслях, сам не думал и только напряженно и счастливо улыбался, глядя на сцену, или на экран, или читая книгу, — независимо от того, трагическое или смешное он видел, и в это время на приятно и легко было глядеть. И на следующий день он говорил в управлении:

— Сходил я вчера в театр. Видел пьеску одну. Да-а!

И долго потом он думал о книге, или о пьесе, или о картине, что-то взвешивал, мотал своей круглой упряги головой и опять говорил через месяц или через полгода:

— Представлен там был один старичок. Егор Булычев некто. Нет, с ним бы поговорить интересно. Я таких встречал, но не догадывался. Это старичок!

И долго, внимательно глядел на собеседника зоркими голубыми глазами.

— Интересно? — спрашивал собеседник.

— Да пожалуй, что интересно, — неторопливо и неуверенно соглашался Лапшин, боясь, что слово «интересно» чем-то оскорбит пьесу, которую он видел.

По радио передавали одно действие из пьесы, о которой Лапшин довольно много слышал, но которая ему чем-то была неприятна. На эту пьесу устраивали культпоход, и товарищи Лапшина очень ее хвалили, и когда хвалили, Лапшин почему-то не верил и улыбался. В культпоходах он никогда не принимал участия — любил бывать в театре один. Ему не нравилось в антрактах обмениваться впечатлениями и вместе пить лимонад. И праздник ему не удавался, если ходили вместе: слишком уж было шумно, суетно, и слишком много говорили.

В этой пьесе речь шла о каком-то, вероятно уже пожилom, человеке, который предполагал, что умирает из-за неизлечимой

болезни, и который на этом основании держался особенно жизнерадостно, бодро и притом с ненавистной Лапшину многозначительной простотой, Каждая фраза этого человека раздражала Лапшина. Ему было обидно и грустно еще и потому, что артист, игравший умирающего, с превосходной внешней точностью и правдивостью изображал голосом человека, Лапшину как бы известного, как бы близко знакомого, несомненно существующего и если бы даже и заболевшего смертельной болезнью, то ни в коем случае так бы не державшегося.

Лежа, по своей привычке, лицом к стене и слушая, как обреченный к смерти человек правдивым голосом поучал других восторженных и глупых людей разводить кроликов, Лапшин хотел было уже выключить радио, как вдруг его внимание привлек знакомый голос актрисы, которая давеча похвалила его фотографии. Он сразу узнал ее голос и вспомнил ее лицо — некрасивое, молодое, с круглыми глазами и большим ртом, розовым и ненакрашенным, как у других актрис. Оттого что он узнал ее голос по радио, Лапшину стало приятно. Он повернулся на спину и крикнул Патрикеевне, чтобы она не бормотала и не мешала. В голосе актрисы ему послышалась интонация, обрадовавшая его, — правдивая и, как показалось ему, уловленная не внешне, а изнутри.

Актриса играла комсомолку, молоденькую и разбитную девушку, искреннюю, неглупую, но не постигшую еще всей сложности жизни и потому наивную. И несмотря на то что Лапшину противен был тот длинно и демонстративно просто умирающий человек, он почти с умилением слушал трогательные по прямоте, восторженности и наивности фразы девушки. То, что написал драматург, было пошло, кокетливо и лживо. Актриса же осветила все это по-своему, и Лапшин, лежа на кровати с закрытыми глазами, думал о том, что он знает таких девушек и юношей, верит им и любит их. И чем дальше, тем менее лжив становился умирающий, тем мягче и умиленнее разговаривал он с этой молодой и наивной девушкой, и Лапшин вдруг, сам того не желая, поверил в реальность разговора и вздохнул коротенько и жалобно, подумав, что все умрем и что умирать жалко.

— Здорово, собака, играет! — размягченным голосом, лежа на своей кровати, сказал Васька.

Лапшин не ответил. Из радиорупора донесся жалобный и некрасивый плач девушки, узнавшей, что ее собеседник скоро умрет.

— Все там будем! — по-бабьи сказал Васька и закурил, чтобы не волноваться.

Явилось какое-то третье лицо, и опять умирающий заговорил отвратительно-скромным и ханжески-простым голосом. Девушка попрощалась, еще поплакала и ушла.

Действие кончилось. Диктор медным голосом прочитал, кто кого играл. Комсомолку играла Адашова, артистка театра, по названию напоминавшего ДЛТ — Дом ленинградской торговли.

— Важно разыграли! — сказал Васька. — Верно, Иван Михайлович?

— Важно, — согласился Лапшин и опять вздохнул — Как бы она ревела, — сказал он, садясь на матрасе, — ежели бы видела смерть настоящих людей! Умирал у меня в группе, — я тогда на борьбе с бандитизмом работал, — и был у меня такой паренек Першенко, молодой еще, совсем юный, так вот он умирал. Ну, брат...

Лапшин поискал вокруг себя на постели папиросы, закурил и стал рассказывать, как умирал Першенко.

— А когда мы его хоронили, — говорил Лапшин, — то лошаденка по дороге на кладбище от голода пала. Понесли гроб на руках. Смехота! Красивый был парень Першенко, Жора его звали, смелый! Двое детишек осталось. А наша группа, когда банду всю повязала, постановила: от своего пайка за месяц десятую долю послать ребятам Жоркиным. И вышло пятнадцать фунтов сахару-мелясу, знаешь, желтый такой? Я год назад заходил к ним, к Першенкам, — ничего живут, оба паренька работают. Чай у них пил с медом. А мамаша опять замуж вышла. И муж у нее такой ерундовский, замухрышка! Кассир в театре. Конечно, кассир тоже дело делает, — можно билеты медленно продавать, а можно быстро. Только за Жорку мне обидно. Орел был!

— Коммунист? — спросил Окошкин.

— Беспартийный.

Постучал Ашкенази, поставил Ваське термометр и сказал:

— Умерла у меня сегодня одна старушка. Я к ней пришел, разговариваю, а она бац — и преставилась. Милая была старушка,

сама для себя мыло варила, покупным не мылась — говорила, что оно из покойников. И в свое клала ягоды — землянику. И вдруг запятая! А?

— Бывает, — сказал Лапшин.

— Тридцать семь и семь, — скатал Васька. — Привет от старушки!

Лапшину стало скучно. Он взглянул на часы — было половина двенадцатого — и вызвал машину.

— Куда? — спросил Васька.

— Поеду к Бычкову, — сказал Лапшин, — на квартиру. Ему баба житья не дает, надо поглядеть.

Он надел шинель, сунул в карман дареный браунинг и сказал из двери:

— Ты микстуру пей, дурак!

— Оревуар, резервуар, самовар! — сказал Васька. — Привези папирос, Иван Михайлович.

Когда он вошел в комнату, на лице Бычковой выразилось сначала неудовольствие, а затем удивление. Она стирала, в комнате было жарко и пахло мокрым, развешанным у печи бельем.

— Бычкова нет дома, — сказала она, — и он нес скоро, наверно, придет.

— Я к вам, — сказал Лапшин, — и знаю, что он не скоро придет.

— Ко мне? — удивилась она. — Ну садитесь!

Стулья были все мокрые. Она заметила его взгляд, вытерла стул мокрым полотенцем и пододвинула ему. Он видел, что она поглядывает на его нашивки.

— Вы стирайте, — сказал он, — не стесняйтесь! Я ведь без дела, так просто заглянул.

Она ловко вынесла корыто в кухню, вынесла ведра, бросила мокрое белье в таз и очень быстро накрыла стол скатертью. Потом сняла с себя платок и села против Лапшина. Лицо ее выражало недоверие.

— Полный парад! — сказал Лапшин.

Бычкова промолчала.

— А вы кто будете? — спросила она. — Я ведь даже и не знаю.

Голос у нее был приятный, мягкий, выговаривала она по-украински — не «кто», а «хто».

— Моя фамилия Лапшин, — сказал он. — Я начальник той группы, в которой работает Бычков. А вас Галина Петровна величать?

— Да, — сказала она.

Лапшин спросил, можно ли курить, и еще поспрашивал всякую чепуху, чтобы завязался разговор. Но Бычкова отвечала односложно, и разговор никак не завязывался. Тогда Лапшин прямо спросил, что у нее происходит с мужем.

— А вам спрос? — внезапно блеснув глазами, сказала она. — Який прыткий!

— Не хотите разговаривать?

— Что ж тут разговаривать?

Он молча глядел на ее порозовевшее миловидно лицо, на волосы, подстриженные чёлкой, на внезапно задрожавшие губы и не заметил, что она уже плачет.

— Ну вас! — сказала она, сморкаясь в полотенце. — Вы чужой человек, чего вам мешаться... Еще растравляете меня...

Полотенцем она со злобой отерла глаза, поднялась и сказала:

— А он пускай не жалуется! Як баба! Ой да ай! Тоже герой!

— Герой, — сказал Лапшин. — Что же вы думаете, товарищ Бычков — герой!

— Герой спекулянтов ловить, — со злобой сказала она. — Герой, действительно!

— Ваш Бычков герой, — спокойно сказал Лапшин, — и скромный очень человек. Он по конокрадам работает, а лошадь в колхозе — дело первой важности. Он дядю Паву поймал, слышали?

— Слыхала, — робко сказала Бычкова.

— А кто дядя Пава, слышали?

— Конокрад, — сказала Бычкова, — лошадей уворовал.

— «Уворовал», — передразнил Лапшин. — Увел, не уворовал.

— Ну, увел, — согласилась Бычкова.

— А что он в вашего Бычкова из двух пистолетов стрелял, это вы знаете?

— Нет, — сказала она.

— Не знаете! — как бы с сочувствием сказал Лапшин и подогнул один палец. — Не знаете, — повторил он. — А что вашему Бычкову два года назад, когда вы спокойненько в школе учились, кулаки-конокрады перебили ногу и он в болоте, в осоке, восемь суток умирал от потери крови и от голода, это вы знаете?

— Нет, — тихо сказала она, — не знаю.

— Так! И это не знаешь, — со злорадством в голосе, внезапно перейдя на «ты», сказал Лапшин и подогнул второй палец. — Что же ты знаешь? — спросил он, — А, Галина Петровна?

Она молчала, опустив голову.

— Твой Бычков знаешь какой человек? — спросил Лапшин. — Знаешь?

Она взглянула на него, Он вдруг чихнул и сказал в платок:

— Нелюбопытная вы женщина, вот что!

Лапшин еще чихнул и крикнул, морщась:

— Понесли, черти! У меня форточка в кабинете, и в затылок дует. Отдышавшись, он сказал:

— Вот как!

И добавил:

— Так-то! Вы бы меня про него спросили. Ему лично со всего Союза письма пишут, он спаситель и охранитель колхозного добра...

— Я ж этого ничего не знаю, — сказала она, — он же мне ничего не говорит. «Поймал жулика, жуликов поеду поймаю, в колхоз поеду, в совхоз поеду, хорошего жулика поймал...»

— А вы спросите! — назидательно, опять перейдя на «вы», сказал Лапшин. — Чего ж не спросить?

— Да он не скажет.

— Чего нельзя — не скажет, а что можно — скажет. Я его знаю, из него всякое слово надо клещами вытягивать. Он боится, что неинтересно, что подумают, будто он трепач, хвастун. Он знаете какой человек? Махорку всегда курил, а хороший табак любит, это мне известно. Премировали мы его, — так он табаку себе все-таки не купил. Говорит — а чего там, подумают, Бычков загордился. А деньги небось вам отдал?

— Мне, — сказала Бычкова, — на пальто. У меня пальто не было зимнего.

— А вы ему табаку купили?

— Так он не хочет, — густо краснея, ответила она, — курит свою махорку...

— «Махорку», — передразнил Лапшин, — «махорку»! Эх вы, дамочка!

— Я не дамочка, — сказала Бычкова, — сразу уж в дамочки попала.

Она заморгала, готовясь заплакать, и, несмотря на досадливый вздох Лапшина, все-таки заплакала.

— Сами плачете, — кротко сказал Лапшин, — а сами ему плотку переедаете. Нехорошо так!

— Я себе в Каменце жила, — говорила она, плача и пальцами вытирая слезы. — Он приехал, в гостинице жил. Я с ним познакомилась. Говорит — поедем, поедем! В оперетку два раза сходили, на «Марицу», знаете, и на «Веселую вдову». Видали? И

потом я как-то влюбилась в него, что он такой тихий, молчаливый. Смотрю — гимнастерку сам себе зашивает белыми нитками...

Она засмеялась, и слезы еще чаще полились из ее черных больших глаз.

— Жалко, так жалко мне стало! «Дайте, кажу, вашу гимнастерку...» И потом гуляли мы с ним до самого утра, а потом уже пошли, расписались. Несчастье мое, поехала с ним в Ленинград, «У нас, каже, театры, кино, опера, балет...»

— Ну? — спросил Лапшин.

— От вам и ну, — плача все сильнее и сильнее, воскликнула она, — чтоб она сгорела, тая жизнь. Знакомых у меня тут нет, родственников нет, ничего нет — одна эта комната, а он зайдет, покушает, поспит и пошел. А то уедет на месяц! Позвонит из управления: «До свидания, Галочка, будь здорова, я в Петрозаводск уезжаю!» — «Уезжай, кажу, к свиньям, чтоб ты подох, чертяка!» Трубку телефонную як кину об стенку, аж брызги полетели. Двенадцать рублей за ремонт отдала...

Закрыв лицо руками, она вышла на кухню, и оттуда послышались ее горькие, громкие рыдания.

Лапшин вспотел, уши у него горели: «Вот антимолия!»- думал он, уставившись в полуоткрытую дверь.

— Чай будете пить? — крикнула она из кухни. — Мне мама варенья прислала вишневого.

— Буду, — сказал он.

Было слышно, как она на кухне наливала в примус керосин, как мыла что-то под краном, как сказала:

— Опять чайник утянули, холера вам в бок!

И как старушечий голос ответил:

— Психопатка дурная! Задавись своим чайником!

Лапшин покрутил головой и вздохнул.

Она вернулась в комнату, напудрилась и сказала, садясь на прежнее место против Лапшина:

— Вот так и живу. Хорошо?

— Ничего, — сказал Лапшин, — надо лучше.

— А то гулять пойду, — сказала она и вспыхнула, — пойду и пойду...

— Очень вы себя жалеете, — сказал Лапшин. — Что тут особенного, подумаешь?

Он поднялся, сбросил шинель и прошелся по комнате из угла в угол.

— Я сама машинистка, — сказала она, глядя на него снизу, — я в Каменце в милиции работала — двести ударов в минуту делала, а тут уже не работаю. Если работать, тогда я его вовсе и не увижу. Он прибежит, а меня и дома нет. Кто ему покушать даст? Вы?

— Почему я? — удивился Лапшин.

Она принесла чайник, масло, варенье и нарезала хлеба.

— Если хотите, — предложил он, — то я могу вас к себе взять в бригаду машинисткой. А нашу я тогда налажу к Куприянову — он просил. Будете вместе с Бычковым работать.

— Хочу, — тихо сказала она.

Чай они пили молча, изредка поглядывая друг на друга, и Лапшин видел, что глаза у Бычковой еще полны слез. Выпив два стакана, Лапшин объяснил ей, как надо заваривать чай. Она слушала его покорно и внимательно.

— И табаку Бычкову купите, — неожиданно сказал он, — Уважьте его. Есть табак под названием «Ялта» или «Особенный». Вот купите четвертку. Он и будет заворачивать.

Наклонившись через стол, Лапшин добавил:

— Время не такое. Неловко, с другой стороны, махорку курить. Поняла?

— Поняла.

Потом, покуривая папиросу и прихлебывая чай, Лапшин говорил о том, что им обоим — и мужу и жене — надо бы летом съездить на юг, на море или в Боржоми.

— О, брат, Боржоми! — говорил Лапшин, налегая на стол и тараща глаза. — Лечение блестящее, но моря нет. Без воды. А? Помиритесь без воды?

— Нет, с морем лучше, — сказала Бычкова. — Я море обожаю. Разве может быть курорт без моря?

— А Кировск? — воскликнул Лапшин.

— Хорошо?

— Спрашиваете! — сказал Лапшин. — Конечно хорошо.

— Нет уж, север — это какой курорт! Это не курорт...

— Глупо говорите! — сказал Лапшин. — Не знаете — не говорите.

Он помолчал, потом вынул записную книжку и спросил, ставя карандашом точку:

— Ленинград?

— Да.

— А сюда Рыбинск. Раз, два, три — через Горький до Астрахани по Волге. Из Астрахани по Каспию до Баку. Из Баку в Тбилиси. Раз! Из Тбилиси в Батуми — два! Из Батуми на теплоходе до Одессы — четверо суток, представляете себе? Потом из Одессы в Ленинград — раз, два, три!

— Да, — сказала Бычкова.

Во втором часу ночи вернулся Бычков. Увидев у себя в комнате начальника, он смутился, но скоро повеселел, сел возле горячей кафельной печи на стул верхом и молча пил чай стакан за стаканом.

— Вы заходите, — говорила Бычкова, провожая Лапшина по коридору. — Или хотите, я к вам зайду?

— Ладно, зайдите, — сказал Лапшин. — А завтра пришлите мне заявление и справки там, какие нужно. Ну, будьте здоровы!

Так как шофера он отпустил, то назад пришлось идти пешком. Очень хотелось спать. Но все-таки по дороге он заглянул в две пивные. Заведующий пивной-подвальчиком сказал ему:

— Не извольте беспокоиться! Полный порядочек! Был тут один, по прозвищу Козодой, — наладили в отделение.

— Кривой, что ли?

— Так точно.

— А прилавок кто разворотил?

Заведующий смущенно улыбался.

— Поцарапались тут две мышки.

— То-то мышки! — сказал Лапшин. — А еще культурная пивная! Безобразия разводите! Ваша как фамилия?

— Разводящий, — сказал заведующий.

— Так вот, чтобы был порядок!

— Слушаюсь.

— И никаких мышек! И руки надо чистые иметь! Попятно?

Он ушел, коротко козырнув. Дома разделся, снял телефонную трубку и заснул с нею в руке — не успел ее повесить.

Его разбудила Патрикеевна, — нужны были деньги — идти на рынок. Он долго ничего не понимал, потом сказал:

— Поди ты, ей-богу! Откуда у меня деньги перед получкой?

— У меня есть свои, — сказала Патрикеевна, — могу на свои в долг сходить. Вы запомните!

— Ну и чудно!

Он проспал еще минут десять-пятнадцать и, проснувшись, вдруг вспомнил вчерашний свой разговор с Бычковой. «Им бы квартиру дать, — сонно думал он, — под охру бы всю. А? С кухней, с уборной, с ванной, чтобы культурненько. И с медной дощечкой на дверь». Он дремал, ворочался на воющих пружинах матраца и сквозь дремоту вдруг размечтался о том, чтобы всем работникам своего отделения выдать по квартире, «А чего ж, — думал он, — построю дом на сорок шесть квартир — и пожалуйста! И распишусь!» И, уже заснув, он сделал такое движение рукой под одеялом, как будто расписывался. «И семафор, — решил он, — и двадцать пять этих...» — Он что-то забыл, взглянул на новый дом и сказал: «Вот чудненько!» И понял, что все это ему приснилось. «Ничего, построим, — думал он, — и Ваське комнату дадим! Хорошо бы рояли в квартирах, пальмы. Телевизоры, черт бы их драл, бассейн там плавательный».

— Вставай, Васюта, — сказал он. — Пора!

Встал, вскипятил чайник и сел за стол в кальсонах с завязками, почесывая голову.

— Здоров? — спросил он.

— Ослабел, — сказал Васька, — Пропал мальчик!

Все утро Лапшин не мог отделаться от мыслей по поводу дома и, вздыхая, придумывал новые и новые усовершенствования: детскую площадку, лифты, дырки в стенах, чтобы грязное белье проваливалось прямо в прачечную.

Потом привели дядю Паву — степенного, очень красивого конокрада. Покашляв в ладонь, дядя Пава сел на стул и положил руки на колени. Когда Лапшин на него взглянул, он произнес:

— Здравия желаем!

— Здравствуйте! — сказал Лапшин. — Что имеете добавить к показаниям?

— Никаких я показаний не давал, — произнес дядя Пава, — которое у вас написано — все вранье. В расстройстве был за несправедливость и наговорил невесть чего.

Злобно-лукавые его глаза внезапно погасли, сделаюсь мутными. Он пригладил большой ладонью синие, с цыганскими кольцами, кудри и потупился.

Лапшин молчал.

— Да-с, — сказал дядя Пава, — оговорили меня. Паршивец стал парод.

— Сам у себя коней ворует? — спросил Лапшин.

— Вполне возможно, — сказал дядя Пава, — ворует мало — еще клеветет.

Лапшин опять замолчал. Его большое лицо потемнело. Он покашлял, порылся в деле, потом позвонил и велел вызвать Бычкова. Тот пришел, хромая, в дверях вынул изо рта пустой мундштук и встал «смирно».

— Дело можно полагать законченным, — сказал Лапшин. — Следствием установлено, что кулак Шкаденков действительно совершал налеты, уводил копей и так далее. Тут я выделил убийство конюха Мищенко. Обратите внимание!

— Слушаюсь! — сказал Бычков.

Вошел секретарь и сказал, что к Лапшину пришла какая-то гражданка из театра.

— Пустите, — сказал Лапшин.

Тяжело поднявшись с кресла, он встретил Адашову у двери. Она была в той же пегой собачьей шубе, и лицо ее с мороза выглядело свежим и совсем еще юным.

— Можно? — робко спросила она, но, заметив спину дяди Павы и фигуру Бычкова, торопливо шагнула назад.

— Ничего, — сказал Лапшин, — посидите пока.

Она села на стул у двери, а Лапшин опять опустился в свое кресло.

— На расстрел дельце пошили, — сказал дядя Пава. — Верно, гражданин Лапшин?

Он глядел на Лапшина из-под припухших коричневых век таким острым, ничего не боящимся взором, что Лапшину вдруг кровь кинулась в голову. Он ударил кулаком по столу и крикнул:

— Молчать!

По тотчас же сдержался и сказал:

— Я спрашиваю, а не вы.

— Это конечно, — согласился дядя Пава.

Он опять провел ладонью по кудрям, и Лапшин заметил его взгляд, брошенный на Бычкова, — косой, летящий и ненавидящий. Бычков же поглядел на него внимательно и вдруг усмехнулся.

— Дело прошлое, — сказал он, — это вы мне ногу прострелили, Шкаденков?

— Боже упаси! — ответил конокрад. — В жизни я по людям не стрелял.

И он облизал свои красные, еще красивые губы.

— Резал, верно, — сказал он, — ножиком резал. И вас порезал на Береклестовом болоте, ударил ножиком, помните?

— Как же, — сказал Бычков, — в плечо. Верно?

— И в спину еще ударил, — напоминал конокрад, — думал, грешным делом, мертвого режу, но нет — не вышло.

— Не вышло, — подтвердил Бычков.

— Живучи, — почтительно сказал конокрад, — аж завидно.

— Живуч, — согласился Бычков и спросил: — Все за свое, за доброе?

— Не за чужое, — сказал конокрад, — но при помощи.

Он оглядел Лапшина и Бычкова и добавил:

— Я смелый. Как вы считаете?

— Мертвого ножом резать — это, конечно, смелость, — сказал Бычков и спросил у Лапшина, можно ли идти.

Он увел с собой дядю Паву, и Лапшин сказал Адашовой:

— И такие тоже бывают. Но редко.

— Страшный господинчик, — сказала Адашова.

— Ничего, достали, — ответил Лапшин.

Он молча поглядел Адашовой в глаза, потом спросил:

— За что это меня ваш старик чиновником обругал? Не помните?

Адашова потупилась и покраснела до того, что Лапшину стало ее жалко.

— Ну, леший с ним! — сказал он, по-детски складывая губы и сдувая со стола папиросный пепел. — Шут с ним, с вашим артистом!

— Все это было позорно, — сказала она, — весь этот наш визит к вам. Такие глупые вопросы...

— Да нет, вопросы не то чтобы уж и глупые, — сказал Лапшин, — но не люблю я про психологию разговаривать. Вот возился я с одним убийцей восемь месяцев — жену он свою убил, а тут вынь да по ложь — психологию. Не так это просто!

И, чтобы кончить неприятный разговор, он спросил у Адашовой: показать ей типов или она еще посмотрит фотографии?

— Не знаю, — сказала она, — как вам удобно, мне все интересно... Я, видите ли, должна играть проститутку в этой пьесе, воровку и немного даже психопатку. Так если можно, я бы поглядела...

— Точно, — сказал он, — будет устроено. Тут у меня сидит одна такая, Катька-Наполеон называется. Заводная дамочка... Вы мне про роль поподробнее изложите, я вам, может, чего посоветую, — смущенно добавил он. — Я этот народ отлично знаю.

Она стала рассказывать, а он слушал, подперев свое большое лицо руками и иногда поматывая головой. Вначале Адашова путалась и волновалась, потом стала рассказывать спокойно.

— Мне, в общем, все не нравится, — сказала она, — но роль может выйти. Как вам кажется?

— А вы с тем стариком, который с челюстью, против пьесы?

— Ах, с Захаровым! — улыбнувшись, сказала Адашова. — Нет, мы против режиссера. Режиссер у нас плохой, пошлый. А Захаров — сам режиссер. Кажется, теперь Захаров будет эту пьесу ставить. У него интересные мысли есть, и мы с ним тогда у вас так радовались потому что все наши мысли совпадали с тем, что вы говорили. И мы пьесу теперь переделываем... Драматург сам приехал сюда...

И Адашова стала рассказывать о том, как будет переделана пьеса.

— Так, конечно, лучше, — сказал Лапшин, — так даже и вовсе неплохо!

Он перестал чувствовать себя стесненным, и на лице его проступило выражение спокойной, даже ленивой деловитости, очень ему идущее. Адашова сидела у него долго, опрашивала, и он охотно отвечал. Говорил он обстоятельно, серьезно, задумывался и, как

человек, много знающий о жизни, ничего не обшучивал. Слушать его было приятно еще и потому, что, рассказывая, он избегал какой бы то ни было наукообразности и держался так, точно ему самому не все еще было ясно и попятно.

— Темные дела происходят на свете, — говорил он, и нельзя было разобрать, осуждает он эти темные дела или находит их заслуживающими внимания и изучения.

— Вам, наверно, все люди кажутся жуликами, или ворами, или убийцами? — спросила Адашова.

— Нет, зачем же? — спокойно ответил он. — Люди — хороший народ.

И Адашова вдруг подумала, что люди — действительно хороший народ, если Лапшин говорит об этом с такой спокойной уверенностью.

— Ну а этот? — спросила она, кивнув на стул, на котором давеча сидел дядя Пава.

— Шкаденков-то? Ну, Шкаденков разве человек? Шкаденков взбесился, его стрелять надо.

— Как — стрелять? — не поняла Адашова.

— Расстреливать, — с неудовольствием объяснил Лапшин.

— И вам никогда не бывает их жалко? — спросила Адашова и испугалась, что бестактна.

— Нет, — медленно сказал Лапшин, — никогда. Был у меня один дружок, — в бандотделе ¹¹ мы с ним работали, — так он говорил: «Вычистим землю, посадим сад, погуляем с тобой в саду...» И не погулял, — повесило его кулачье за ноги и такое натворили с ним...

Лапшин махнул рукой и, поднявшись, спросил:

— Позвать Наполеона?

— Позовите! — сказала Адашова, и Лапшин вдруг увидел в ее глазах слезы.

— Это очень хорошо, — сказала она дрожащим голосом, — очень!

— Что? — не понял Лапшин.

— Вычистим землю, посадим сад, — сказала она, — погуляем в саду.

— Да, — сказал Лапшин, раскуривая папиросу, — я часто вспоминаю.

Он позвонил и велел вызвать Наполеона. Пока ходили за Наполеоном, пришла Бычкова в коричневом кожаном пальто и в белой шапочке, принесла очень длинное и выразительное заявление.

— Садитесь! — сказал Лапшин. — Гостьей будете!

Написав резолюцию, он спросил:

— Своего видели?

— Видела, — сказала Бычкова, — якогось цыгана допрашивает.

— Этот цыган ему ногу прострелил, — сказал Лапшин, — и ножом его порезал.

— От зверюга чертова! — сказала Бычкова угрожающим голосом.

— Теперь идите в отдел кадров, — сказал Лапшин, — и оформляйтесь!

— Она уполномоченной работает? — спросила Адашова, когда Бычкова ушла, — тоже жуликов ловит?

— Главный Пинкертон, — сказал Лапшин смеясь, — Машинисткой она у нас будет.

Катька-Наполеон была в дурном настроении, и Лапшин долго ее уламывал, прежде чем она согласилась поговорить с Адашовой.

— Мы здесь как птицы-чайки, — говорила она, — стонем и плачем, плачем и стонем. За что вы меня держите?

— За налет, — сказал Лапшин, — забыла?

— Налет тоже! — сказала Наполеон. — Четыре пары лодочек...

— И сукно, — напомнил Лапшин.

— Надоело! — сказала Наполеон. — Считаете, считаете. Возьмите счета, посчитайте!

— Не груби, — спокойно сказал Лапшин, — не надо.

— Как-то все стало мелко, — говорила Катька, — серо, неизящно. Взяли меня из квартиры, я в ванной мылась. Выхожу чистенькая, свеженькая, а в комнате у меня начальнички. Скушала суп холодный, чтобы не пропал, и поехала.

Она была в зеленой вязаной кофточке с большими пуговицами, в узкой юбке, в ботах и в шляпе, похожей на охотничий пирожок. Потасканное лицо ее было еще привлекательно, по глаза уже поблекли, помутнели, и зубы тоже были нехороши — мелкие и не белые.

— Стонем и плачем, — говорила она, — плачем и стонем. Поеду теперь на край света, буду там, как Робинзон Крузо, с попкой жить.

Да, товарищ начальничек? И на гавайской гитаре играть.

— Там поиграешь! — неопределенно сказал Лапшин и ушел вниз в партийный комитет.

Оттуда он поднялся к начальнику и застал там прокурора, отличного охотника, с которым не чаще раза в год лазал по болотам и бил уток.

— А я, брат, очки надел, — сказал ему прокурор. — Старею.

— Фасонишь! — сказал Лапшин. — Роговые какие-то выдумал!

— Ну что артисты? — спросил начальник. — Канительный народ? Чуть было не пропал с ними, — сказал начальник, обращаясь к прокурору, — наговорил им невесть чего...

Он вопросительно замолчал, надеясь, что Лапшин скажет, будто все было в порядке, но Лапшин только густо покашлял.

— Что ж, Иван Михайлович, не женишься? — спросил прокурор. — Позвал бы на свадьбу, погуляли бы!

— Да нет, — сказал Лапшин, — куда мне, я старый старичок.

— Ну уж, старичок! — смеясь, сказал прокурор и снял очки, к которым не привык и которые его стесняли. — Такие старички, Иван Михайлович, самый бедовый народ...

И вдвоем с начальником они стали подсмеиваться над Лапшиным и рассказывать про него те небылицы, которые мужчины рассказывают только мужчинам.

— Ладно уж! — сказал Лапшин, сам смеясь. — Вот языки-то у вас подвешены!

Начался разговор о хищениях кожи с одного склада на Пороховых и о трикотажных спекулянтах, но долго еще и прокурор, и Лапшин, и начальник во время разговора посмеивались, вспоминая шутки и анекдоты, придуманные про Лапшина.

— Мое мнение, что тут Мамалыга шурует, — сказал Лапшин, — его рук дело. И то ограбление магазина в районе с убийством сторожа — это тоже он. И с трикотажем штучки...

— Так ты возьми дело, — сказал начальник, — разработаю его. Богатое будет, верно?

— Могу взять, — сказал Лапшин, — дело интересное.

Когда, обойдя всю бригаду и допросив кассира-растратчика, Лапшин вернулся к себе в кабинет, Катька-Наполеон и актриса сидели

рядом на диване и разговаривали с такой живостью и с таким интересом, что Лапшину стало неловко за свое вторжение.

— Вот и начальничек, — сказала Катька. — Строгий человек!

Он сел за свои бумаги и начал разбирать их, и только порой до него доносился шепот Наполеона.

— Я сама мечтательница, фантазерка, — говорила она, — я такая была всегда, оригинальная, знаете...

Или:

— Первая любовь — самая страстная, и влюбилась я девочкой пятнадцати лет в одного, знаете, курчавенького музыканта, по фамилии Мускин. А он был лунатик и как гепнул с седьмого этажа — и в пюре, на мелкие дребезги.

«Ну можно ли так врать?» — почти с ужасом думал Лапшин и вновь погружался в свои бумаги.

— А один еще был хрен, — доносилось до Лапшина, — так он в меня стрелял. Сам, знаете, макаронный мастер, но жутко страстный. Я рыдаю, а он бац, бац, И разбил пулями банку парижских духов. Какая была со мной истерика, не можете себе представить...

Секретарь положил перед Лапшиным на стол конверт и сказал, что человек, который принес письмо, ждет внизу в парадной.

Лапшин разорвал конверт, развернул записку и улыбнулся. Бывший вор, ныне работающий токарем на одном из крупнейших ленинградских заводов, приглашал Лапшина на октябрины своей дочки:

«Дорогой товарищ начальник, — было написано в письме, — не побрезгуйте, зайдите! Я встал на верные ноги, и ни одна душа из всех моих товарищей не знает про мое проклятое прошлое и никогда не узнает. А дочка у меня родилась чистоганом десять фунтов, и жена у меня хорошая женщина — комсомолка — и любит меня как кошка. Имею комнату, и обстановочку завел, и приделся на трудовые сбережения, и помню, как вы мне говорили и перековывали меня отеческими словами и как даже обматерили меня, что я опять попался на грязном деле. И больше я не жулик, и проклятое прошлое мое зачеркнуто для новой жизни. Прошу вас, товарищ начальник, раз вы ко мне в гости придете, значит, и вы забыли и, значит, я новый человек. Прошу вас, приходите не в форме, а то как бы кто не подумал чего, что я из воров. А с меня за героический мой труд снята в лагерях

судимость, и я имею чистенький паспорт, как цветок. И приходите с супругой — все будет в порядке и прилично, не на малине живу, прошу прийти, а звать меня по-настоящему Евгений Алексеевич Сдобников, а не Шарманщик, и не Головач, и не Козел...»

Прочитав письмо, Лапшин позвонил вниз вахтеру, позвал к телефону Сдобникова и сказал басом:

— Что ж ты, Евгений Алексеевич, адрес не указал? Нехорошо!

— А приедете? — спросил Сдобников, по-прежнему картавя, и Лапшин вдруг вспомнил его живое, веселое лицо, сильные плечи и льняного цвета волосы.

— Я с одной знакомой к тебе приеду, — сказал Лапшин, — разрешаешь?

И он кивнул взглянувшей на него Адашовой.

— Наговорились? — спросил он, когда Катьку увели. — Интересно?

— Потрясающе интересно, — с азартом сказала Адашова, — невероятно! Я к вам каждый день буду ходить, — с мольбой в голосе спросила она, — можно? Ну хоть не к вам лично, к вашим следователям. Мне это так все необходимо!

— Ну и ходите на здоровье! — улыбаясь, сказал Лапшин. — Вы мне не мешаете. Только ребят моих строго не судите — народ они толковый, честный, но культуры кое у кого недостает...

Посмеиваясь, он протянул ей полученное давеча письмо, и, когда она прочитала, предложил пойти вместе.

— Но у меня спектакль! — со страхом в глазах сказала Адашова. — Меня во втором действии расстреливают...

— Значит, в третьем вы уже не играете?

— Не играю.

— Ну и чудно! Я за вами заеду...

— Часов в десять, — сказала она, просияв. — Да? Я как раз буду готова.

Лапшин, скрипя сапогами, проводил ее до лестницы и крикнул вниз, чтобы выпустили без пропуска. Возвращаясь по коридору назад, он чувствовал себя молодым и сильным и весь день работал, наверстывая потерянное время. Работа спорилась, и все было ловко ему и удобно: и перо, которым он писал, и кресло, и телефон, и погожий зимний снежок за огромным окном... И когда он, по своему

обыкновенно, каждый час или два обходил бригаду, — всем было тоже ловко, удобно и приятно глядеть в его зоркие ярко-голубые глаза под светлыми бровями, слушать его гудящий бас и безусловно подчиняться ему, самому умному, самому взрослому и самому смелому из всех работающих в бригаде.

Второе действие еще не кончилось, когда Лапшин приехал в театр. С ярко освещенной шипящими прожекторами сцены доносились беспокойные и неестественные крики, которыми всегда отличается толпа в театре, и между кулисами был виден гнедой копь, на котором сидел знакомый Лапшину актер с большой нижней челюстью, в форме белогвардейца, со сбитой на затылок фуражкой и с револьвером в руке. Немного помахав револьвером, артист выкатил глаза и два раза выстрелил, а затем стал пятить лошадь, пока она не уперлась крупом в большой ящик, стоявший за кулисами. Тогда артист сполз с нее и сказал, увидев Лапшина:

— И на лошади уже сижу, а не слушают! Что за пьеса такая?

Двое пожарных отворили ворота на улицу и, не смущаясь клубами морозного пара, стали выталкивать коня.

— Он на самом деле слепой, — сказал Захаров Лапшину, — я весь дрожу, когда на нем выезжаю. Авария может произойти.

Лапшину сделалось очень жарко, и он, оставив артиста, вышел в коридор покурить. У большой урны курил тот журналист Ханин, приятель Лапшина, который говорил про него, что он живет хоть и чисто, но неинтересно.

— А, Иван Михайлович! — сказал он, блестя очками. — Почитай, год не виделись!

— Ты где пропадал? — спросил Лапшин.

— На золото был, на Алдане, — сказал Ханин, — а теперь полечу с одним дядькой в одно место.

— В какое место?

— Это мой секрет, — сказал Ханин.

Они помолчали, поглядели друг на друга, потом журналист подмигнул и сказал:

— А ты любопытный! Пельмени будем варить?

— Можно, — сказал Лапшин.

— У меня, брат, жена умерла, — сказал Ханин.

— Что ты говоришь! — пробормотал Лапшин.

— Приехал, а ее уж похоронили.

Он отвернулся, поглядел в стенку и помотал красивой, немного птичьей головой. Затем сказал раздраженным голосом:

— Вот и мотаюсь. А ты зачем тут?

Лапшин объяснил.

— Адашова? — сказал Ханин. — Позволь, позволь! — И, вспомнив, он обрадовано закивал и заулыбался. — Молодец девочка, — говорил Ханин, — как же, знаю! Она вовсе и не Адашова, она вовсе Баженова, кружковка. Я ее хорошо знал...

Взяв Лапшина под руку, он прошелся с ним молча до конца длинного коридора, потом, уютно, посмеиваясь, стал рассказывать про Адашову. Говорил он о ней только хорошее, и Лапшину было приятно слушать, хотя он и понимал, что многое из этого хорошего относится к самому Ханину, — время, о котором шла речь, было самым лучшим и легким в жизни Ханина. И Лапшин угадывал, что кончиться рассказ должен был непременно покойной женой Ханина, Ликой, и угадал.

— Ничего, Давид, — сказал он, — то есть не ничего, но ты держись. Езжай куда-нибудь подальше! Работай!

— И так далее, — сказал Ханин, — букет моей бабушки.

— Отчего же Лика умерла? — спросил Лапшин.

— От дифтерита, — быстро ответил Ханин, — паралич сердца.

— Вот как!

— Да, вот как! — сказал Ханин. — На Алдане было невыразимо интересно.

Лапшин посмотрел в глаза Ханину и вдруг понял, что его не следует оставлять одного — ни сегодня, ни завтра, ни вообще в эти дни, пока он не улетит.

— Послушай, Давид, — сказал он, — поедем сегодня к моему крестнику вместе, а? Только об этом писать не надо. И вообще, никто не знает, что он вор.

— Как же не знает? — сказал Ханин. — Все они, перекованные, потом раздирают на себе одежду и орут: я — вор, собачья лапа! Не понимаю я этого умиления...

— Так не поедешь? — спросил Лапшин.

— Поеду.

Со сцены донесся ружейный залп, и в коридоре запахло порохом.

— Пишешь что-нибудь? — спросил Лапшин.

— Пишу, — угрюмо сказал Ханин. — Про летчика одного, жизнеописание.

— Интересно?

— Очень интересно, — сказал Ханин, — но я с ним подружился, и теперь мне трудно.

— Почему?

— Да потому. Послушай, Иван Михайлович, — заговорил Ханин, вдруг оживившись, — брось своих жлобов к черту, поедem бродяжить! Я тебе таких прекрасных людей покажу, такие горы, озера, деревья... А? Города такие! Поедем!

— Некогда, — сказал Лапшин.

— Ну и глупо!

Лапшин улыбнулся.

— Один здешний актер выразился про меня, что я фагот, — сказал Лапшин, — и чиновник...

Он постучал в уборную к Адашовой. Она долго не узнавала Ханина, а потом обняла его за шею и поцеловала в губы и в подбородок.

— Ну, ну, — говорил он растроганным голосом, — тоже нежности. Скажи пожалуйста, в Ленинград приехала, а! Актриса!

У Адашовой сияли глаза. Она стояла перед Ханиным, смешно сложив ноги ножницами, теребила его за пуговицу пиджака и говорила:

— Я так рада, Давид, так рада! Я просто счастлива.

Ладонями она взяла его за щеки, встала на цыпочки и еще раз поцеловала в подбородок.

— Жирафик какой! — сказала она. — Прошел колит или еще нет?

— Что вспомнила! — засмеялся Ханин.

Лапшину сделалось грустно. Он сел в угол на маленький диван и увидел в зеркале свои ноги, обутые в штатские ботинки. «Дураком, поди, выпляжу», — подумал он и вздохнул.

— Вы знаете, Иван Михайлович, — говорила ему Адашова, — вы знаете, что для меня Ханин сделал? Он через газету на наш завком нажал, чтобы меня в Москву отправили учиться в театральный техникум. И они с Ликой меня на вокзал провожали. А Лика где? — спросила она.

— Лика умерла, — сказал Ханин, — от дифтерита шесть дней назад.

И, вытащив из жилетного кармана сигарку, закурил.

Они долго еще разговаривали, Лапшин смотрел на Адашову, на ее тонкую белую шею и худые руки и испытывал такое чувство, будто он здесь давно и будто Адашова не полузнакомая ему женщина, а близкий и верный человек.

— Что ж, поедемте? — спросила она.

Лапшин глядел в ее широко раскрытые глаза и не понимал.

— Иван Михайлович, поедемте! — громко повторила она.

— Так точно, — сказал он, — я готов.

У Нарвских ворот шедший впереди грузовик на полном ходу сбил крылом переходившего улицу краснофлотца, свернул в переулок и потушил огни. Лапшин, не тормозя, обогнул распростертое на мерзлой мостовой тело, рванул поводок сирены и носком ботинка нажал железку.

Грузовик уходил.

— Это мне неинтересно, — сказал сзади Ханин, — ты нас всех теперь поубиваешь.

Сирена выла, пугая прохожих, и заставляла уступать дорогу Лапшину. Косой снег летел навстречу и залеплял ветровое стекло. Когда кончились дома, слева ударил ветер, и такой сильный, что сразу оторвалась слюдяная боковинка.

— Иван Михайлович, надоело! — сказал сзади Ханин. — Не мучай нас!

На очень большой скорости машину внезапно повело на деревья, и Лапшин почувствовал, как Адашова вцепилась в его локоть.

— Ничего, ничего! — сказал он, вывертывая руль, и вновь нажал железку так, что машина рванулась вперед. Не выпуская из руки поводок от сирены, на полном ходу Лапшин свернул влево и повел машину в обгон, рискуя влететь в канаву, со скоростью девяносто километров. Проскочив хрипящий и щелкающий грузовик и проехав бешеным ходом еще километр или два, Лапшин затормозил и поставил автомобиль поперек дороги. Почти тотчас же с хода завизжали тормоза грузовика.

— Вылезайте! — сказал Лапшин, открыв дверцу грузовика и спуская в кармане предохранитель браунинга. — Идите в ту машину! И отдайте ключ!

Шофер был огромного роста, пьяный, костистый человек, и если бы не браунинг, то он наверняка ударил бы Лапшина из кабины сверху по голове тяжелым разводным ключом.

Садясь вновь за руль, Лапшин вдруг подумал, что, вероятно, ему не следовало заниматься нынче погоней и что теперь Адашова думает о нем, что он гнал нарочно из хвастовства.

Было слышно, как арестованный попросил у Ханина папиросу и как Ханин ответил:

— Не дам. И не наваливайтесь на меня, я вам не подушка!

Сдобников жил в новом доме с очень нелепой и запутанной нумерацией квартир, и они втроем долго ходили по обширному двору, разыскивая квартиру 207а II.

Ханин сердито стучал тростью, а Адашова смеялась над ним и называла его жирафиком.

Дверь отворил сам Сдобников, и по его испуганно-счастливому лицу было видно, что он давно и тревожно ждет.

— Ну, здравствуй! — сказал Лапшин и подал Сдобникову свою большую, сильную руку.

Женя покраснел и сказал картавя:

— Здравствуйте, товарищ начальник!

И, смутившись, поправился:

— Иван Михайлович!

— Ну покажись! — говорил Лапшин. — Покажи костюмчик-то... Хорош! И плечи, как полагается, с ватой... Ну, знакомься с моими, меня со своей жинкой познакомь и покачивай, кик живешь.

Он выглядел в своем штатском костюме как в военном, и Адашовой слышался даже характерный звук поскрипывания ремней.

Ханин пригладил гребешком редкие волосы, и они все пошли по коридору в комнату. Их познакомили по очереди с чинно сидящими на кровати и на стульях вдоль стен девушками и юношами. Стариков не было, кроме одного, выглядевшего так, точно все его тело скрепляли шарниры. Лапшин не сразу понял, что Лиходей Гордеич, — так его почему-то называли, — совершенно пьян и держится только

страшным усилием воли. Он был весь в черном, и на голове у него был аккуратный пробор, проходивший дальше макушки до самой шеи.

— Тесть мой! — сказал про него Женя. — Маруси папаша!

Маруся была полногрудая, тонконогая, немного косенькая женщина, и держалась она так, точно до сих пор еще беременна, руками вперед. Она подала Лапшину руку дощечкой и сказала:

— Сдобникова. Садитесь, пожалуйста!

А Ханину и Адашовой сказала иначе:

— Маня. Присядьте!

В комнате играл патефон, и задушевный голос пел:

*В последний раз
На смертный бой...*

Гостей было человек пятнадцать, и знакомиться надоело. Последним был моряк в форме торгового флота, с лицом красным и плутоватым.

— Сэм Зайцев, — представился он, — от плавающих и путешествующих.

И поклонился вбок.

Потом смотрели дочку. Маруся подняла ее высоко, и все стали говорить, что дочка отличная и вылитый папаша. Патефон заиграл марш, и все сели за стол. Лапшина посадили рядом с Адашовой, а Ханина и Сэма напротив. Женя сел слева от Лапшина и сразу налил ему водки.

— Пьешь? — спросил Лапшин.

— Выпиваю, — сказал Женя.

— Пей только за столом, а не за столбом! — посоветовал Лапшин.

— Это правильно, — горячо сказал Женя. — Надо, чтобы все чин по чину было. Закусочка, семейный круг. — Он помолчал, потом добавил: — Буфетик себе приобрел.

Ничего?

— Ничего, — сказал Лапшин, — приличная вещь. Дорого дал?

— Четыреста, — сказал Женя.

Ханин, до сих пор молча глядевший на Сдобникова, чокнулся с ним и сказал:

— За ваше здоровье!

Было много вкусной еды — пирогов, запеканок, заливного, форшмаков — и все домашнее. Женя ничего не ел и все подкладывал Лапшину.

— Вы кушайте, — говорил он. — Девчата сейчас жареное подадут. Наварили, напекли, хватит!

— Пурпур, — крикнул Лиходей Гордеич, — под турнюр котурном.

— Не безобразничайте, папаша! — строго сказал Женя. — Надрались, как гад...

— Он кто? — спросила Адашова.

— Портной в цирке.

Сдобникову очень хотелось, чтобы все было чинно и спокойно, и когда старик начал скандалить, он заволновался и ушел к нему.

Сэм Зайцев от стакана водки захмелел и рассказал, что в Лондоне на Пикадилли есть магазин, где продают сигары по сто долларов за штуку.

Потом Сэм стал показывать, как надо делать языком, чтобы получалось английское произношение, и тут же рассказал, что у него вся одежда на застежках «молния».

— И портсигар, и бумажник, и кошелек тоже, — говорил он, — и специальный чехол для ножика... Вот посмотрите!..

На другом конце стола отчаянно зашумели, — Сдобников и два парня в джемперах, с бритыми шеями, поволокли Лиходея Гордеича к дверям. Вернувшись, Женя вытер руки одеколоном и сказал всему столу:

— Простите за беспокойство!

Пили в меру, Лапшин поглядывал на Адашову и видел, что ей весело, от этого ему самому было хорошо и покойно. Он предложил ей выпить, она насыпала в пиво сахару и чокнулась с ним.

— Домой не пора? — спросил через стол Ханин.

Лицо у него было измученное, и когда он ел, то закрывал один глаз, и это придавало ему странное выражение дремлющей птицы.

— Вы его любите? — тихо спросила Адашова у Лапшина.

— Мы давно знаем друг друга, — сказал Лапшин.

— Отчего вы на мои руки смотрите? — спросила она и подогнула пальцы.

Притушили свет и в полутьме хором запели бойкую песню. Лапшин искоса глядел на артистку и опять думал о том, что нет для него на свете человека ближе и дороже ее. Она тоже взглянула на него и смутилась, Из коридора вернулся Ханин под руку с Зайцевым и, зевая, сказал:

— Поедемте баиньки, а?

На прощание Сдобников долго жал Лапшину руку:

— Спасибо вам, товарищ Лапшин!

Сэм тоже сел в автомобиль и долго врал про жизнь моряка.

Когда он вылез, Ханин надвинул на глаза шляпу и сказал:

— А Баженова наша спит!

Артистка действительно спала, сидя рядом с Лапшиным и спрятав лицо в воротник. Лапшин ехал медленно. Все стало представляться ему значительным, необыкновенным: и ряд фонарей, сверкающих на морозе, и красные стоп-сигналы обогнавшего паккарда, и глухой, неслышный рокот мотора, и тихий голос Ханина, с тоскою читавшего:

...Вдруг

Гром грянул, свет блеснул в тумане,

Лампада гаснет, дым бежит,

Кругом все смерклось, все дрожит,

И замерла душа в Руслане...

Все смолкло. В грозной тишине

Раздался дважды голос странный,

И кто-то в дымной глубине

Взвился чернее мглы туманной...

Лапшин остановил машину.

— Проснитесь, Наташа! — сказал Ханин. — Приехали!

И постучал по ее плечу тростью.

Она подняла голову, вытерла губы перчаткой, засмеялась и, ни с кем не прощаясь, молча вышла из автомобиля.

— Поехали! — сказал Ханин. — Больше ничего не будет.

— Чего не будет? — спросил Лапшин.

— Ничего не будет, — сказал Ханин, — ничего, тупой ты человек!

В передней у Лапшина Ханин долго раздевался, потом вошел в комнату, поглядел на спящего Окошкина и, пока Лапшин был в ванной, спрятал в карман один из револьверов, висевших на стене.

— Теперь будем чай пить, — сказал Лапшин, вернувшись из ванной с полотенцем, обмотанным вокруг живота, и без рубашки. — Вода холодная, как подлец!

— Ну будем, — согласился Ханин.

Лапшин поставил чайник и, ласково чему-то улыбаясь, нарезал булку. Ханин взял полотенце и пошел в ванную. Там он заперся на крючок, снял очки, как всегда в ванной, и, положив их в сетку на мочалку, сунул в рот револьвер. Ствол был широкий, и, чтобы было поудобнее, Ханин повернул ручку так, что ствол пришелся боком. Потом он закрыл один глаз и нажал спусковой крючок. Щелкнул боек, и во рту у Ханина зазвенело, по выстрела не было. Все еще не закрывая рта, Ханин вынул обойму и покачал головой. Револьвер не был заряжен.

— Ты скоро? — спросил из коридора Лапшин.

— Иду, — ответил Ханин и, чтобы Лапшин не подумал лишнего, открыл кран и уже машинально вымыл руки. Потом надел очки и сел с Лапшиным пить чай. Проснулся Васька и сказал:

— Приехал, Носач? Где был?

— Не твоего ума дело, — ответил Ханин, — ты все равно географии не знаешь.

Он устроил себе постель на полу, потушил огонь, впотьмах повесил на место револьвер, лег, повозился и сказал:

— Лапшин, поверни выключатель, не то Патрикеевна мне наступит на голову, а у меня голова слабая. Слышишь?

— Не наступлю, — сказала Патрикеевна из ниши, — небось, не дура!

Васька тоненько всхрапнул, засыпая, а Лапшин и Ханин не спали еще очень долго, и каждый из них думал о своем. Обоим хотелось курить, и оба стеснялись, потому что тогда стало бы понятно, что они не спят. И порою они вздыхали как бы во сне.

Утром, когда Лапшин и поправившийся Васька уехали в управление, Ханин вынул из бумажника двести рублей и, отдавая их Патрикеевне, сказал:

— Ты меня, баба, покорми, пока я в Ленинграде.

— Тут будешь жить?

— Тут, — сказал Ханин, — и там. Всяко.

— А жена не заругает?

— Жена у меня померла, — сказал Ханин петушиным голосом, — приказала долго жить.

И вдруг, всплеснув длинными руками, он зарыдал так горько, так страстно и с таким отчаянием и иступлением, что Патрикеевна отшатнулась от него, а через несколько секунд и сама заплакала.

— Ты не знаешь, какая она была, — говорил Ханин, уже успокоившись и гримасничая, — ты не знаешь! Никто не знает. Она молчаливая была, прелестная. И нам так не везло, так не везло! Я нервничал, ревновал, мучился, ее мучил. Мне все что-то казалось. И она умерла.

Выплакавшись, он сидел на кровати без ботинок, отхлебывая из стакана воду, и рассказывал Патрикеевне об Алдане. А она все вытирала себе слезы и говорила:

— Вот чудеса-то! Вот чудеса!

Разработка дела Мамалыги и его группы шла удачно, и накануне намеченной операции, утром, Лапшин созвал у себя в кабинете оперативное совещание.

Поглаживая макушку и глядя в блокнот, он сказал, что несомненно и трикотаж, и кожевенное сырье, и налет с убийством, и вооруженное разбойное нападение, и ранение кассира — все это работа банды Мамалыги.

— Таким образом, — говорил он, строго оглядывая присутствующих, — тут орудовал не один человек, а группа, возглавляемая Иофаном Мамалыгой, или Георгием Андреевичем Зубцовым. Мы с вами знаем бежавшего из заключения Иофана Мамалыгу, сына расстрелянного белыми паропроводчика. Но тот Иофан — не Зубцов, а этот — Зубцов, и Зубцов — не сын паропроводчика и из беспризорных, а сын известного белого генерала Зубцова, кадет, юнкер, колчаковец и каратель. Таким путем мы имеем...

Скрипнула дверь, и вошел запоздавший Васька Окошкин:

— Вы ко мне? — спросил Лапшин.

— Позвольте доложить? — спросил Васька.

— Докладывайте!

Васька подошел к столу, встал «смирно» и, торжествующе улыбаясь глазами, негромко рассказал, что им в автомате у Гостиного двора только что задержан Воробейчик с подложными документами, а главное — с накладными на отправку большой скоростью трикотажа и обуви.

— Куда адресованы грузы?

— В Малоярославец и в Вологду, — сказал Васька, — в Зеленый Бор и в Некурихино.

— Ничего себе! — сказал Лапшин. — Ну ладно, садись, мы тут совещаемся.

Окошкин сел и жадно затянулся папиросой, а Лапшин начал развивать свой план операции.

— Товары сосредоточены главным образом в доме девять, — говорил он, — у Кукленкова, и затем в кочегарке по Лесному. У Кукленкова придется ломать полы, там сосредоточена замша и фетровые заготовки для бурок... Соппротивление здесь оказано не будет. В кочегарке тоже не будет. Таким путем остается малина Мамалыги...

Совещание кончилось через сорок минут, а через час Лапшин обошел всю бригаду и приказал расходиться по домам.

— Нечего! — говорил он. — Спать пора!

Как всегда в дни окончания подготовки крупного дела, бригаду лихорадило, и только один Лапшин сохранял спокойствие и подшучивал даже больше, чем обычно. Это было в его характере. Чем яснее он понимал, что Мамалыга даром не сдастся, тем благодуще и покойнее он выглядел и тем меньше говорил о предстоящем деле.

В самый день операции, когда ему докладывали о ходе подготовки, он рассеянно морщился и говорил:

— Да? Ну что ж, ладно!

Ранним вечером у него в кабинете зазвонил телефон, и он услышал голос Адашовой.

— Иван Михайлович?

— Точно, — сказал Лапшин.

— Можно к вам приехать? — спросила Адашова. — У меня вечер свободный.

— Да сейчас я занят, — сказал он, — тут у меня всякие делишки.

Она помолчала.

— Как вы живете? — спросил Лапшин.

От звука ее голоса у него билось сердце, он не знал, что сказать, и во второй раз спросил:

— Как же вы живете?

— Да никак, — вяло сказала она, — работаю, репетирую.

Ему хотелось сказать ей, что он, вероятно, любит ее, что он думает о ней все время и что он понимает, насколько все это плуто. Но он спросил, как Захаров и переделали ли уже пьесу или еще нет.

— Переделали, — грустно сказала она. — До свидания, Иван Михайлович!

Лапшин помолчал, ожидая чего-то, и услышал, как Адашова повесила трубку. «В девчонку, — думал он, шагая по кабинету, — ну

ей двадцать семь — двадцать восемь, и что нам с ней делать? Про жуликов говорить?» Он постучал себя по лбу и постоял у окна, глядя на площадь Урицкого.

В восьмом часу вечера Окошкин на оперативной машине привез из кафе «Европа» двух участников группы Мамалыги. У одного из них был наган, у другого — пистолет Борхарда, правда без патронов. Первый назвался Петром Седых, второй показал паспорт иностранного подданного.

— Ах, вот как, — сказал Лапшин тонким голосом, — целый цирк!

Он позвонил, чтобы иностранного подданного увели, и стал допрашивать Седых. Он уже ни о чем не думал, ее предстоящего ныне дела, ни о чем не помнил, ничего не понимал. И выражение глаз у него сделалось неприятное, спрятанное, и только голос был как обычно — покойный, иногда с растяжкой. Седых ничего нового ему не сказал, а только подтвердил то, что было известно еще вчера: у Мамалыги вечером большое гуляние. Седых увели, Лапшин залпом выпил стакан остывшего чаю с лимоном и, скрипя сапогами, пошел по комнатам бригады.

Везде было тихо и пусто, и только в той комнате, где сидел Васька Окошкин, были люди, проверяли оружие и разговаривали теми сдержанными легкими голосами, которые известны военным и которые означают, что ничего особенного, собственно, не происходит, ни о какой операции никто не думает, никакой опасности не предстоит, а просто-напросто что-то заело со спусковым механизмом пистолета у Васьки Окошкипа и вот товарищи обсуждают, что именно могло заесть.

— Ну как? — спросил Лапшин.

— Да все в порядке, товарищ начальник! — весело и ловко сказал Побужинский. — Вот болтаем.

Лапшин сел на край стола и закурил папиросу.

— Побриться бы надо, Побужинский! — сказал он. — Некрасиво, завтра выходной день. Пойди, у меня в кабинете в шкафу есть принадлежности, побрейся!

— Слушаюсь! — сказал Побужинский и ушел, оправляя на ходу складки гимнастерки.

Окошкин и Бычков оба машинально попробовали, как у них с бородами, очень ли заросли.

— Ну как, товарищ Окошкин, Тамаркина дело? — спросил Лапшин: — Много там жуликов у них в артели?

— Хватает, товарищ начальник, — скромно сказал Васька.

— Сознаются?

— Очень сознаются, товарищ начальник, — сказал Васька.

— А почему у тебя на губе чернила?

— Такое вечное перо попало, — сказал Васька, трогая губу, — выстреливает, собака, Как начнешь писать, — оно чирк! — и в рожу.

— Вот напасть, — сказал Лапшин.

Пришло еще несколько человек — вспомогательная группа. В комнате запахло морозом, шинелями. Два голоса враз сказали:

— Здравствуйте, товарищ начальник!

Лапшин поглядел на часы и ушел к себе в кабинет одеваться. Побужинский, сунув в рот большой палец и подперев им изнутри щеку, брился перед зеркалом.

— Не можешь? — сказал Лапшин. — Стыд какой! Давай сюда помазок!

Он сам выбрил Побужинского, вытер ему лицо одеколоном, запер за ним дверь, надел на себя кожаное короткое пальто, подбитое белым бараном, и постоял посредине комнаты.

Ему вдруг захотелось позвонить Адашовой, но он не знал ее телефона, а спрашивать у Ханина было неловко. Вынув из стола кольт — оружие, с которым не расставался больше десяти лет, — Лапшин проверил его, надел шапку-ушанку, фетровые бурки и позвонил вниз в комнату шоферов. Когда он выходил из кабинета, народ уже ждал его в коридоре.

— Давайте! — сказал Лапшин. — Можно ехать.

Рядом с ним по старшинству сел Бычков, сзади — Побужинский, Окошкин и шофер.

— Тормоза немножко слабоваты, — сказал шофер, — так что вы не надейтесь, товарищ начальник!

Машина тронулась, и было слышно, как глухо захлопали дверцы во второй машине, идущей следом. Васька сзади завел длинный анекдот про попа, попадью и работника.

— Во зверь! — поощрительно сказал Побужинский и засмеялся.

Машина обогнула площадь Урицкого. Лапшин рванул сирену, и регулировщик дал зеленый свет.

Был подвыходной. Проспект 25 Октября, несмотря на мороз, кишел народом. Дворники в тулупах и белых фартуках ломали сбитую с торцов ледяную корку. Ревело радио, и даже в машине были слышны шарканье ног гуляющих, смех и отдельные слова. Замерзшие витрины магазинов сверкали, как глыбы цельного льда, над подъездами кинематографов вилась и блистала огненная реклама картин, регулировщик на углу внезапно дал красный свет.

С проспекта Нахимсона, под грохот дюжины барабанов, шли пионеры. Их было много, отряд шел за отрядом, барабаны мерно и возбужденно выбивали и чеканили шаг. Ощущение мирного, покойного, праздничного города вдруг с такой силой охватило Лапшина, что он с трудом представил себе, что через полчаса или через час может произойти в этом же самом городе, и, представив, озлобился. Все было просто и ясно — под грохот барабанов шли дети с какого-то своего праздника, огромный город готовился ко дню отдыха, магазины были полны народу, играла музыка...

— Эх! — огорченно сказал Бычков и плевком потушил окурок. Он, вероятно, чувствовал то же, что и Лапшин.

— Чего, Бычков? — спросил Лапшин.

— Да так, товарищ начальник, — с сердцем сказал Бычков, — надоели мне жулики!

Васька сзади все рассказывал про попадю и работника, и Побужинский восхищенно спросил:

— Так и решили?

— Так и решили, — сказал Васька.

— А поп?

— Чего поп?

— Будет вам! — строго сказал Лапшин. — Нашли смехоту!

Васька замолчал, потом опять зашептал, и Побужинский веселым шепотом порой спрашивал:

— Что, что?

Проехали завод Ленина, Фарфоровый завод, Щемиловский жилищный массив. С Невы хлестал морозный ветер.

— А наши едут? — спросил Лапшин.

— Едут, — сказал Васька и опять зашептал Побужинскому: — Тогда работник этот самый берет колун, шуку и — ходу в овин. А уж в овине они оба два...

Лапшин остановил машину возле каменного дома, вылез и пошел вперед. Бычков перешел на другую сторону переулка, а Васька и Побужинский пошли сзади. Оглянувшись, Лапшин увидел, что вторая машина уже чернеет рядом с первой.

Мамалыга гулял на втором этаже в деревянном покосившемся доме, открытом со всех сторон. Несколько окон были ярко освещены, и оттуда доносились звуки гармон и топот пляшущих.

— Обязательно шухер поднимут, — сказал Лапшин, дождавшись Быčkова. — Ты со мной не ходи, я сам пойду!

Бычков молчал. По негласной традиции работников розыска, на самое опасное дело первым шел старший по чипу и, следовательно, самый опытный.

— Обкладывай ребятами всю хазу! — сказал Лапшин — Коли из окон полезут — ты тово! Понял?

Из-за угла вышли Окошкин, Побужинский и еще пятеро оперуполномоченных.

— Ну ладно! — сказал Лапшин, посасывая конфетку. — Пойдем, Окошкин, со мною. Принимай крещение!

Они пошли по снегу, обогнули дом и за дровами остановились. Звуки гармон и топот ног стали тут особенно слышны.

— За пистолет раньше времени не хватайся, — сказал Лапшин. — И вообще вперед черта не лезь.

— А что это вы сосете? — спросил Васька.

— Мое дело, — сказал Лапшин.

Он вынул кольт, спустил предохранитель и опять сунул в карман.

Васька отвернулся к стене и, расстегивая шубу, озабоченно спросил:

— Отчего это мне в самый последний момент всегда занадобится? А, Иван Михайлович? Нервы, что ли?

Подшли два уполномоченных, назначение которых было — стоять у выхода. Лапшин и Окошкин поднялись по кривой и темной лестнице на второй этаж. Здесь какой-то парень тискал девушку, и она ему говорила:

— Не психуйте, Толя! Держите себя в руках! Зараза какая!

Они прошли незамеченными, и Лапшин отворил дверь левой рукой, держа правую в кармане. Маленькие сенцы были пусты, и дверь в комнату была закрыта. Лапшин отворил и ее и вошел в комнату, которая вся содрогалась от топота ног и рева пьяных голосов. Оба они остановились возле порога, и Лапшин сразу же узнал Мамалыгу — его стриженную под машинку голову, большие уши и длинное лицо. Но Мамалыга стоял боком и не видел Лапшина — любезно улыбаясь, разговаривал с женщиной в красном трикотажном платье. Васька сзади нажимал телом на Лапшина, силясь пройти вперед, но Лапшин не пускал его.

Гармонь смолкла, и в наступившей тишине Лапшин вдруг крикнул тем протяжным, все покрывающим хриплым и громким голосом, которым в кавалерии кричат команду «По коням!»:

— Сидеть смирно!

Из его рта выскочила обсосанная красная конфетка, и в ту же секунду Мамалыга схватил за платье женщину, с которой давеча так любезно разговаривал, укрылся за нею и выстрелил вверх, пытаясь, видимо, попасть в электрическую лампочку.

— Ложись! — покрывая голосом визг и вой, крикнул Лапшин. — Не двигайся!

Мамалыга выстрелил еще два раза и не попал в лампочку. Женщина в красном платье вырвалась от него и покатила по полу, визжа и плача. Мамалыга стал садиться на корточки, прикрывая локтем лицо, и стрелял вверх.

— А, свинья! — сказал Лапшин и, не целясь, выстрелил в Мамалыгу. Васька в это время прыгнул вперед и, ударив кого-то в сиреновом костюме, покатился с ним по полу.

— Сдаюсь! — сказал Мамалыга и поднял обе руки; из одной текла кровь.

Шагая через лежащих, он подошел к Лапшину и дал себя обыскать. Пока Васька его обыскивал, Лапшин отворил заклеенное окно и негромко сказал:

— Давайте сюда! Можно брать!

Когда Мамалыгу выводили вниз, он вдруг укусил себя за здоровую руку и сказал воющим голосом:

— Пропал! Закопали!

— Давай, давай! — сказал ему Васька. — Гроза морей чертов!
В драке Окошкину разорвали губу, и он сплевывал кровь и злился.
— Попало? — спросил у него Побужинский. — А?
— Поди к черту! — угрюмо сказал Васька.

Все вышло иначе, чем он думал: стрелять ему не пришлось, бомб никто не бросал, и рана оказалась какой-то стыдной — жулик в сиреновом костюме разорвал ему рот.

А дело Тamarкина все тянулось, и украденный мотор уже перестал существовать в деле серьезным обвинением. Моторов оказалось много, и Тamarкин не был один, а те, которых выдавал он, выдавали других, и каждый говорил, что он не виноват, а вот такой-то действительно виноват, и Васька Окошкин только крутил головой и вздыхал. Внезапно вынырнули какие-то четыре тонны колленкора, затем Тamarкин сознался, что украл семнадцать ящичков экспортных куриных яиц.

— Ну? — удивился Васька.

— Позвольте папирочку! — попросил Тamarкин.

Он уже совсем освоился в тюрьме, был старшиной в камере и даже написал Лапшину жалобу на своего соседа по камере, причем жалоба была написана таким языком, что Лапшин, читая ее, сделал губами, будто дул, и сказал:

— От чешет!

— Куда же вы яйца распределили? — спросил Васька, стараясь отточить карандаш новой машинкой. — А, Тamarкин?

— Куда? Мама продавала, — сказал Тamarкин.

— Знакомым?

— Какая разница? — сказал Тamarкин. — Ну, знакомым!

Васька предостерегающе взглянул на Тamarкина, и Тamarкин понял этот взгляд, так как добавил:

— Можно написать, что именно знакомым, и можно написать фамилии и адреса, и можно написать адрес одной дамы — некто мадам Хавина Инна Олеговна. Через нее прошло четырнадцать ящичков — и после она себе сделала норковую шубку.

Ему было уже море по колено, он выдавал всех и держался так, будто его запутали и будто он ребенок. На допросе он часто говорил про себя:

— Ах, гражданин начальник, все мы — Тamarкины — слабовольные люди!

А на очной ставке с главой всего предприятия Тamarкин говорил:

— Это мучительно! Это мучительно! Поймите, Ихельсон, что я еще ребенок, а вы старый зверь.

Ихельсон помолчал, потом ответил:

— Если кто получит стенку, так это вы, ребенок!

Поговорив про семнадцать ящиков яиц, Тамаркин спросил, правда ли, что у Окошкина неприятности из-за дружбы с ним, с Тамаркиным.

— Это вас не касается, — сказал Васька.

— Во всяком случае, — сказал Тамаркин, я в любое время дня и ночи могу подтвердить, что никакой дружбы между нами не было.

И он сделал такую поганую морду, что Васька швырнул об стол карандаш и крикнул:

— Вас не просят! И с вами тут не шутки шутят! Отвечайте по существу!

Оттого что он крикнул, у него из разорванного рта пошла кровь. Он зажал рот платком и стал писать протокол допроса. — Дальше, — иногда говорил он или опрашивал: — Вы хотите разговаривать или хотите обратно в камеру? — и при этом косился на Тамаркина.

В двенадцатом часу ночи вошел Лапшин и сел рядом с Васькой.

— Это и есть Тамаркин? — спросил он.

— Совершенно верно, — сказал Тамаркин, — но вернее — это все, что осталось от Тамаркина.

Лапшин почитал дело и покачал головой.

— Жуки! — сказал он. — Что только делают!

И опять покачал головой с таким видом, будто не встречал в своей жизни более страшных преступлений.

— На пять лет потянет? — развязно спросил Тамаркин.

— Там увидим, — сказал Лапшин. — Суд знает, кому что требуется.

Попыхивая папиросой, он вышел на цыпочках и спустился вниз к начальству с докладом за день. У начальника в кабинете горела уютная зеленая лампа и топился камин. Когда Лапшин вошел, начальник приложил палец к губам и потом погрозил Лапшину кулаком. Лапшин сел в кресло и, сделав осторожное лицо, стал слушать радио. «Михайлов Иван Алексеевич, — говорил диктор, — Диц Герберт Адольфович, Смирнов...» Лапшин позевал, стянул со стола у начальника вечернюю газету и, чтобы не шуршать бумагой,

прочитал какую-то статейку только с левой стороны, то есть одну половину столбца. Наконец диктор кончил.

— Да-а, — сказал начальник, — слышал, Иван Михайлович?

Лапшин положил газету на стол.

— Не слышал? — спросил начальник.

— Нет, — сказал Лапшин.

— Ну, тогда поздравляю! — сказал начальник и снял пенсне. — Слышишь, поздравляю, Иван Михайлович! Тебя наградили орденом Красной Звезды.

Он обошел стол кругом, споткнулся об угол ковра и подошел к Лапшину вплотную. Оба они не знали, что теперь делать. У Лапшина было по-прежнему осторожное лицо, он только очень побледнел и опять взял со стола газету.

— Да нет, — сказал начальник, — тут нету, в газетах еще нету, — сейчас по радио передали...

Он взял из рук Лапшина газету и бросил ее на стол.

— И меня, брат, наградили, и Бычкова.

— Трех? — спросил Лапшин. — А как сформулировано?

— Не знаю, — сказал начальник, — забыл.

Помолчав, он спросил:

— Что ж теперь будем делать? Или, вернее, что надо делать? А?

— Да что, — сказал Лапшин, — ничего.

Он сел в кресло и почувствовал, что весь вспотел, до того, что даже ногам сыро.

— Ах, Бычкова нет! — сказал он. — Ну подите, как нарочно услали парня за тридевять земель. Ах, жалость...

Начальник привязал пенсне за цепочку к пальцу и ходил по кабинету, близоруко щурясь.

— Ну ладно, докладывай, Иван Михайлович! — сказал он. — Как там дела?

И Лапшин, чувствуя почему-то облегчение, начал докладывать, и начальник слушал его и говорил по своей манере:

— Чудненько! Чудненько!

Когда он вернулся к себе в бригаду, то никого уже не было, один только дежурный, упершись локтями в стол, читал «Курс физики». Лицо у него было напряженное, непонимающее.

— Учитесь, товарищ Панченко? — спросил Лапшин.

— Да, надо немножко, — сказал Панченко, — подразобраться хочу в явлениях природы.

— Разбираешься?

— Да не очень, товарищ начальник.

Лапшин заглянул в книгу, — она была раскрыта на «теплоте», на больших и малых калориях. Он читал и чувствовал, что Панченко тоже читает.

— Ты листочек бумаги возьми, — сказал Лапшин, — точные науки всегда советую тебе с бумагой, графически выразить. И карандашик возьми. Это не роман, не стихи, наука.

Он сел на стул Панченки и велел Панченке тоже сесть.

— Гляди сюда! — сказал он. — Вот я изображаю ее через эту латинскую литеру. Тебе известен латинский алфавит? Я тебе его сейчас запишу, а ты как что — заглядывай...

— Слушаюсь!.. — сказал Панченко.

— И слушайся! — басом сказал Лапшин. — Слушайся. Я тебя плохому не научу...

И он, заглядывая в книгу, стал объяснять Панченке «теплоту», которую, как и всю физику, как и химию и биологию, в свое время, в девятнадцатом, двадцатом и двадцать первом годах, читал во время ночных дежурств при свете коптилки или электрической лампочки, горевшей в четверть накала.

Позанимавшись, он велел Панченке найти домашний телефон Бычковой и позвонил. Сказали, что Бычкова спит.

— Разбудите! — приказал он.

Она подошла не скоро.

— Разоспалась, матушка! — сказал Лапшин. — Какой сон видела?

— А это кто? — спросила она. — Это Бычков?

— Это я, — сказал Лапшин, — я, Лапшин.

— А-а, — разочарованно сказала она. — Ну чего?

— Твоего Бычкова наградили орденом Знак Почета, — сказал Лапшин. — Слышишь?

Она молчала.

— Слышишь или нет? — спросил Лапшин.

— Слышу, — тихо сказала она и покашляла.

Домой он шел пешком, курил и думал и очень обрадовался, что Ханин, Окошкин и Ашкенази ничего не знали. Ханин сидел верхом на стуле и читал вслух листы, напечатанные на машинке.

— Это что? — спросил Лапшин, наливая себе чай.

— Не мешайте! — сказал Ханин. — Вас не перебивали.

Это был дневник летчика, и Лапшин понял, что дневник не выдуманный, а настоящий.

— Нравится? — спросил Ханин, кончив чтение.

— Красиво, — сказала Патрикеевна из ниши. — Не дай бог за такого замуж выйти!

Все переглянулись, и Васька сказал:

— О смерти думай, а не о муже! Саван шей, вредная женщина!

Было слышно, как Патрикеевна плюнула. Лапшин снял сапоги, Ашкенази ушел, а Васька заснул, как только коснулся подушки. Лапшин тоже делал вид, что спит. И только Ханин трещал на пишущей машинке и пил холодный чай. Под утро, стуча деревяшкой, из ниши вышла Патрикеевна, согрела Ханину чаю и достала из буфета ветчину, которую ни Лапшин, ни Васька не получили.

— Возьми, покушай! — сказала она. — Ты деньги платишь, не как Васька-приживал. Покушай ветчинки, бессонница!

— Бог подаст, бог подаст, — сказал Ханин, треща на машинке, — бог подаст!

— А Васька подлец — ну ни копейки не платит! — быстрым шепотом сказала старуха. — Сел хозяину на шею и едет... Глядеть страшно!

— Ну и не гляди! — сказал Ханин. — И не мешай мне.

Но потом он съел всю ветчину и, заметив, что Лапшин не спит, спросил:

— Доволен, что орден получил?

— Доволен, — сказал Лапшин. — А ты откуда знаешь?

— Я все знаю, — сказал Ханин. — Я даже знаю, о чем ты думаешь и почему не спишь.

— Ну, почему? — спросил Лапшин испуганным голосом.

Ханин молчал.

— Ладно уж, — сказал он, — не буду. Тут Адашова звонила.

— Ну?

— Завтра пойду к ней в гости, — сказал Ханин, — пирог буду есть с визигой.

Днем к нему в управление пришел артист с большой челюстью, Захаров, и, здороваясь с ним, Лапшин глядел на дверь — ему казалось, что сейчас войдет Адашова, но ее не было.

— Я, батюшка, один, — поняв его взгляд, сказал Захаров, — фертов своих к вам не повел. Не умеют себя сети, пусть и сидят дома. — И он начал длинно говорить про каких-то братьев Гонкур, которые, описывая смерть, долго ходили по больницам и наблюдали умирающих. Он говорил, а Лапшин слушал и не понимал, всерьез рассказывал Захаров или шутил.

— Так уж я вам надоедать не буду, — сказал Захаров, — пойду попасусь среди ваших работников, если позволите.

Лапшин проводил артиста к Побужинскому, оделся и пошел вниз, чтобы ехать в суд. Вахтер, смущенно улыбаясь, остановил его в вестибюле и сказал, что какие-то двое парней просили передать товарищу Лапшину корзину цветов и записку. Лапшин надорвал бумагу. В записке было всего несколько слов:

«Вы нас не помните, а мы вас помним. Мы, бывшие жулики, поздравляем товарища Лапшина с наградой правительства».

Дальше шли четыре подписи.

Лапшин спрятал записку в бумажник, отправил цветы к себе в кабинет и, с удовольствием набирая воздух и легкие, сел за руль автомобиля. День был мягкий, с серебристыми облаками на голубом небе, с капелью, с влажным, уже весенним ветром, и настроение у Лапшина было праздничное, необыкновенное. Несмотря на то что оба они, и Лапшин и начальник, из скромности делали такой вид, будто решительно ничего не произошло, для обоих, как, впрочем, и для всего учреждения, в котором они работали, был праздник, особенный,

отличный от других день, и все — от начальника и Лапшина до вахтера — были в немного приподнятом, торжественном настроении.

Все утро Лапшина поздравляли — и по телефону и заходили в кабинет начальники бригад, приносили телеграммы от старых друзей, работающих не в Ленинграде, позвонили вдруг с завода, которому Лапшин вернул несколько лет назад украденную машину, позвонили из пригорода, в котором он в годы гражданской войны бился с бандой, и старческий голос сказал:

— Не помните? Густав Густавович Леман, конфетчик. Не помните?

— Не помню, — сказал Лапшин.

— В девятнадцатом году вы в моей хижине отлеживались, — сказал Леман, — вас тогда ранили в голень. Не помните?

— А, помню! — радостно сказал Лапшин, вспоминая домик уютного немца, возившегося с канарейками, и вкусный кофе, и булочки из картофельной кожуры...

— Мы с женой вас поздравляем, — сказал старческий голос, — и желаем вам долгой жизни.

Лапшин молчал, вспоминая молодость.

— Храбрость и доблесть мужчины всегда награждаются правительством, — сказал Леман, — а вы храбрый и доблестный человек. До свидания, я звоню с почты, и мои три минуты кончились.

Потом принесли телеграмму из Мурманска, и Лапшин опять вспомнил прошлое — перестрелку на Севере, и ему почему-то стало грустно. Потом приехали три парня и девушка в красном берете с жестяной вроде кокарды. Девушка была толстая, и Лапшин никак не мог вспомнить, где и когда он ее видел. Они привезли Лапшину торт, и парень, у которого под пальто была маечка, сказал длинную фразу, из которой Лапшин понял, что он где-то кого-то спас и при этом что-то предотвратил. Они ушли, а Лапшин так и не понял, кто они и откуда. Торт остался на письменном столе, и Лапшину было неловко на него глядеть. Подумав, он разрезал его и каждому, кто приходил с докладом или по делу, клал кусок на бумагу, говоря:

— На-ка, покушай!

И только Адашова ему не позвонила, «Обиделась, наверно, — думал он, — ну что ж я могу поделаться!»

Пришла Галя Бычкова, съела два больших куска торта и сказала:

— А вы как-то тихий, Иван Михайлович! Да?

— Почему тихий? — удивился Лапшин.

В суде он пробыл до вечера, слушая дело растратчиков, и остался недоволен приговором. А возвращаясь в управление, думал о том, что, наверно, пока его не было, звонила Адашова и что теперь уже поздно и она не позвонит больше.

Как только он сел в кресло, пришел Васька Окошкин сказал дрогнувшим голосом:

— Поздравляю, товарищ начальник, с высокой наградой!

— Спасибо, Вася! — сказал Лапшин и дал Окошкину торта на листке календаря.

Окошкин слизал крем, потом спросил:

— Почему дали растратчикам?

— Мало дали, — сказал Лапшин, — безобразное получилось положение...

И он стал рассказывать о процессе.

— Я еще скушаю, — сказал Васька, — крем здорово хороший!

— Ну кушай, — сказал Лапшин, — кушай и слушай!

Поговорив о процессе, Васька ушел к себе, а Лапшин вызвал Мамалыгу и стал его допрашивать тем холодным и гладким тоном, каким всегда допрашивал таких людей, как Мамалыга.

Мамалыга отводил глаза, а Лапшин в упор глядел на него своими яркими глазами и спрашивал, пока еще только изучая Мамалыгу, нащупывая слабые и сильные стороны его характера и в то же время давая Мамалыге понять, что тут уже все известно, что не следует терять время на пустые разговоры.

Мамалыга решительно сопротивлялся, но ушел от Лапшина подавленным и разбитым.

«Ничего, заговоришь, — думал Лапшин, провожая его глазами, — очень мило будем беседовать».

Зазвонил городской телефон, и Лапшин узнал голос Адашовой.

— Иван Михайлович, миленький, — быстро говорила она. — Я только что узнала о вашем событии. У меня Ханин, и он мне сказал...

— Да, — сказал Лапшин, — так точно.

— Приходите ко мне, — сказала она, — если можете. У меня никого нет, только Ханин. Приходите, пожалуйста! Я пирог испекла.

— Так точно, — сказал он, — приду.

Повесил трубку, сел в машину и, чувствуя себя таким счастливым, как бывало только в детстве, поехал и Адашовой. Комнатка у нее была маленькая, и стояли в ней только рояль, диван и круглый стол, накрытый к ужину. Было очень светло, и Ханин без пиджака топил печку.

— Ну, здравствуй! — сказал Ханин. — Сейчас Наташа придет, она в кухне. Или ты приехал, чтобы поскорее повидаться со мной?

— Оставь пожалуйста! — сказал Лапшин.

На маленькой этажерке стояли книги, и Лапшин взял одну из них. Это были стихи, но у него так билось сердце, что он долго читал одну и ту же строчку и не понимал ничего. Вошла Адашова в сером платье с белым воротничком и поздравила его. От нее пахло кухней; она наклонила голову и спросила:

— Видите, как волосы сожгла? Сейчас будем ужинать.

Он сел на диван, а она ходила мимо него, и он чувствовал, что счастлив, и стыдился на нее смотреть — видел только ее ноги в черных чулках и дешевых туфлях.

За ужином он смотрел в тарелку и изредка говорил:

— Так точно.

Или:

— Совершенно верно.

Или:

— Нет, очень вкусно.

Угощая, Адашова часто дотрагивалась до его руки или клала ладонь на обшлаг его гимнастерки. И он ждал и пугался прикосновений и мучился, чувствуя себя связанным, неестественным, жалким.

На обратном пути Ханин спросил у него:

— Ты меня прости, Иван Михайлович, но у тебя романы в жизни были?

— Нет, — помолчав, сказал Лапшин, — не было у меня никаких романов. Не занимался.

И, поскользнувшись, добавил:

— Вот у Васьки романы, это да!

Приняв перед сном ванну и растирая свое сильное тело полотенцем, Лапшин понял, что и сегодня ему не спать, но, как давеча, лег в постель и притворился, что спит. Ханин опять трещал на

машинке, а Лапшин думал, что любит Адашову и что если бы она к нему тоже хорошо отнеслась (он не решался думать о том, что и его могут полюбить), то он бы женился, и тогда, как многие его товарищи по работе, звонил бы домой и говорил с домашними, и все бы понимали, что у него тоже есть своя семья, и свой дом, и в комнате перестало бы пахнуть сапогами, табаком и парикмахерской, и он тоже устроил бы у себя ремонт, и в кабинете начальника после ночного доклада они говорили бы о семьях, о квартирах, о детях.

— Чего не спишь? — спросил Ханин. — Чего, мужик, ворочаешься? Пирога переел?

— Вот именно, — сказал Лапшин, — пирога.

— Ну соды! — посоветовал Ханин.

— А ты пишешь, писатель? — спросил Лапшин.

— Писатели-читатели, — сказал Ханин, — давай чай пить.

Они пили чай, курили и молчали, и обоим было грустно.

С первыми днями весны влюбился Васька Окошкин — и сразу же все решительно это заметили и узнали, в кого и как и почему именно в эту девушку, а не в другую. И в бумажнике, и в кошельке, и в ящиках стола, и просто в его карманах, и в портфеле — везде появились у него фотографические карточки миловидной девушки с припухлыми губами, возникли сувениры — маленькие носовые платки, пуховка для пудры, какой-то ключик неизвестного назначения, кусок карманного зеркала, каменный слоненок и еще черт знает что в таком же роде. И по крайней мере каждые два-три часа, где бы он ни был, он разыскивал телефон, и с тяжелой настойчивостью маньяка подолгу добивался какого-то коммутатора, и подолгу требовал соединить его с номером тридцать вторым, и подолгу спрашивал:

— Это весовая?

Добившись ответа, он называл себя почему-то кладовщиком и говорил, чтобы дали Кучерову.

— Это Варя? — спрашивал он, ворочая белками глаз и дуя в телефонную трубку. — Это Варя, а? Варя?

Лицо у него стало обалделым, он подолгу бессмысленно глядел перед собою, часто ронял вещи и вовсе не изводил Патрикеевну. Шутить над собою он решительно не позволял и делился своими переживаниями и мыслями только с Ханиным, да и то очень коротко и однообразно.

— Пропадаю! — говорил он Ханину. — Вы замечаете? Ей-богу, выговор схвачу!

Во сне он метался, скрипел зубами, по ночам пил много воды, ел едва-едва, только острое и соленое, глотал какие-то порошки «для укрепления нервной системы».

— Ты женись, — сказал ему как-то Ханин, — на тебя глядеть довольно противно...

— Да не хочет же, — с отчаянием сказал Васька. — Вы что, не понимаете? Не хочет! Ничего не хочет! Железная, холодная, это даже представить себе невозможно, до чего она меня измучила!

— Хохочет? — спросил Ханин.

— А чего ж ей? — сказал Васька. — Конечно, смеется.

— Застрели ее, — сказал Ханин, — и сам застрелись.

— Шутите все, Носач! — угрюмо ответил Васька.

Однажды он явился домой под утро, в штатском и пьяненьким. Ханин еще не спал, трещал на своей машинке.

— О, мальчик, — сказал он, завидев печальную и ироническую Васькину улыбку. — Ты там у двери погоди, я сейчас тебя обработаю!

Пока Ханин искал нашатырный спирт и полотенце, Окошкин стоял у дверного косяка и говорил:

— Над фамилией смеялась. А? Носач? И как зло смеялась. Растоптала, все растоптала...

Проснулся Лапшин, свесил ноги с кровати и сказал громко:

— Поздравляю, дожили!

— На, бей! — крикнул Васька и маленькими, косенькими шажками пошел к Лапшину. — На, бей! Толкни падающего, прикончи его штыком, кости ему сломай!..

И он понес такой страшный вздор, то Лапшин опять лег и спрятал голову под подушку.

Сидя в ванне в совершенно холодной воде, Васька говорил Ханину:

— Я сам понимаю. Я даже формально понимаю. Я опустился, разложился. Я кто? Я, Носач, живой мертвец. Мне не место, А? Не место?

— Ну-ка, нырни еще! — сказал Ханин и нажал на голову Ваське так, что тот нырнул в воду.

— Утопишь, сволочь! — отдышавшись, сказал Васька. — С ума сойти!

Когда Васька проснулся, ни Лапшина, ни Ханина уже не было, комната была прибрана, и Патрикеевна, далеко отставив деревянную ногу, пила чай с черными сухарями и с солью.

— Проспал маленько, — с лицемерным сожалением сказала Патрикеевна, — двенадцатый час.

Васька молча оделся, вычистил зубы с пемзой и солью и поехал в управление. В два часа он пошел с докладом к Лапшину и уже открыл дверь в кабинет и увидел Лапшина, но Лапшин сказал ему, что занят, и Васька, вспотев, закрыл дверь. В три часа Лапшин опять его не принял, в четыре тоже, а в шестом часу к Ваське заглянул

Побужинский и сказал, что он, Васька, может доложить Побужинскому. Васька горько усмехнулся и доложил.

«Кончено, — думал он после доклада, стискивая голову руками. — Действительно, кончено. Уж что кончено, кончено...»

И он вдруг вспомнил мотив, который ему нравился, и слова, которые тоже нравились, но меньше мотива:

Окончен путь,
Та-та там, та-та там,
Устала грудь,
Та-та там, та-та там,
И сердцу,
И сердцу хочется немножко отдохнуть...

Смерклось.

Васька не зажигал огня, а ходил по комнате, сложив руки на груди, и думал о своей жизни, о загубленной молодости и о том, что женщины, конечно, делают с мужчинами что угодно. Ему очень хотелось позвонить в весовую, но он не звонил и озлоблял себя нарочно и только порою поглядывал на телефон как на врага.

Хромая, вошел Бычков, уже с орденом, веселый, хитрый.

— Что ж ты, Окошкин? — сказал он, садясь. — Ребята тебя вчера видели пьяным.

— Какие ребята? — подавленно спросил Окошкин.

— Да хорошо, что хоть свои ребята, — сказал Бычков, — а то сраму бы не обобраться!

Они посидели молча.

— Да, тяпнул вчера, — стараясь быть поразвязнее, ненатуральным топом сказал Васька, — переложил...

— Ох, парень! — вздохнул Бычков.

До поздней ночи Васька допрашивал и снимал показания с потерпевших заведующих киосками, у которых украли в общей сложности четыре бочки пива, бочку селедок и два ящика макарон. В двенадцатом часу Васька выяснил, что на сегодня назначена интересная операция и что его не берут.

— Начальник ничего про тебя не приказывал, — говорил Побужинский, зашивая суровой ниткой лопнувшую кобуру у нагана, — про меня сказал, про Бычкова и про Пономаренку, а про тебя нет.

— А сам едет? — спросил Васька.

— Едет.

Васька повернулся на каблуках и из своего кабинета позвонил по внутреннему телефону Лапшину.

— Никаких приказаний не будет, — сухо сказал Лапшин, — можете быть свободным!

Пешком Васька отправился домой, лег в сапогах на постель, укрыл лицо газетой и сказал Патрикеевне:

— Я вас попрошу не хлопать так ужасно дверью!

Патрикеевна чертыхнулась и, чтобы досадить Ваське, хлопнула дверью еще два раза. Васька вскочил и закричал дурным голосом, что если это не прекратится, то он будет стрелять, что он неврастеник и что надо относиться к нему по-человечески. И разодрал пополам газету, которой укрывал лицо.

Пришел Ханин, ткнул Ваську тростью в живот и сказал, не раздеваясь:

— Получил сегодня письмо от Лики. Она заболела и написала мне на Алдан, письмо долго путалось, и вот я получил письмо через полтора месяца после Ликиной смерти. Слава честным почтальонам, утомленным, запыленным, с толстой сумкой на ремне!

Он сбросил свое широкое пальто, заглянул в шляпу и спросил:

— Худо тебе?

И кислым голосом стал говорить о том, что жениться не стоит.

— Впрочем, ты глупый и самовлюбленный человек, — заключил он, — живи как угодно.

Настелив себе на полу, он лег, и они оба долго молчали. Потом приехал Лапшин, сел на кровать и заговорил, не глядя на Ваську:

— Это позорная история, — говорил он, — и это не может повторяться, Я так понимаю. Мне нет никакого дела до причин этой гадости...

Васька встал и поправил на себе гимнастерку.

— Слушаюсь! — сказал он, — Будет исполнено!

Весна наступила ранняя, стремительная, с ручьями, со звонкой и быстрой капелью, с внезапными солнечными и ветреными днями, с дождями и теплыми, парными, душными туманами.

Вскрылась и очистилась ото льда Нева.

Везде в управлении открывали двери на балконы, с сухим хрустом рвалась пожелтевшая бумага, и на нее приятно было наступать ногами. Уборщицы в серых картах пели песни и мыли стекла, из комнат ведрами уносили незаметную зимой пыль и грязь. Везде дули сквозняки, все летело со столов, и у всех в бригаде Лапшина был несколько шальной вид.

Ханин, решивший вдруг написать очерк об уголовном розыске, ходил по комнатам без пальто, в шарфе, очках и в шляпе, курил и растерянно посмеивался.

— Несolidное у тебя учреждение, — говорил он Лапшину, — сквозняк, бабы песни поют...

Он подолгу сидел на допросах, ездил один в суд, запирался в комнате возле кабинета Лапшина и разговаривал там с ворами, кулачем, растратчиками. Порою оттуда доносился до Лапшина его раскатистый смех или грохот стульев, — какой-нибудь жулик в лицах разыгрывал перед Ханиным происшествие. И Ханин выходил из комнаты довольный, размахивал длинными руками и говорил:

— А знаешь, Иван Михайлович, твои жулики не дураки! Верно?

— Верно, — соглашался Лапшин.

С утра до вечера в бригаде у Лапшина толкались артисты. Всем они надоели, и только невозмутимый Бычков держался с ними ровно и спокойно.

Адашова по-прежнему приходила к Лапшину. Собачий пегий полушубок она сняла и носила теперь вязаную серую кофточку и желтые полуботинки на резине. Она побледнела, и лицо ее немного осунулось и покрылось у носа веснушками, которые очень к ней шли. Сумки у нее не было, и потому карманы ее серой кофточки всегда оттопыривались, и всегда она что-то теряла — то карандаш, то пуховку, то какой-то талончик.

— Это ужасно, — вдруг говорила она, — я потеряла три рубля! Дайте мне, пожалуйста, кто-нибудь на трамвай.

Она очень любила сладкое и ту странную, негородскую еду, которая нравится детям, — дынные семечки, капустные кочерыжки, кедровые орехи, и часто говорила, что хорошо бы сейчас съесть сырую морковь или мороженое яблоко. А Ханин уверял, что своими глазами видел, как Адашова ела сосновую шишку.

Круг ее интересов был необыкновенно широк — решительно все было ей интересно, все занимало ее, трогало, волновало. Книги она читала самые разные — то Гюго, то Фламариона, то почему-то сборник былин, и спрашивала у Лапшина или у Ханина обо всем — о преступности в Америке и об устройстве дамб в Голландии, о Монроэ и об его доктрине, о работах академика Вильямса и о замене продрозверстки продналогом.

— Вот видите, — говорила она, выслушав ответ, — а я думала иначе...

Часто, зелеными весенними вечерами, Лапшин и Ханин вдвоем шли к ней, покупали по дороге маленький торт, или пирожков, или просто булку, масла и колбасы, сидели до ночи, пили чай из расписных веселых и уютных чашек, а потом клали на подоконник диванные подушки и подолгу глядели на смутные кроны Таврического сада, на огни автомобилей, на сиреневое холодное небо и болтали всякий вздор — кому что приходило в голову. Иногда Ханин пел, сопровождая себя на гитаре, и непременно, кончив петь, встряхивал своей красивой птичьей головой и говорил:

— Не надо мне петь! Эх, не надо!

А потом потихоньку шли гулять, и всегда выходило что Адашова и Ханин разговаривали друг с другом, а Лапшин отставал шага на два и думал о том, что он тут не очень нужен и что говорить Адашовой и Ханину с ним не о чем. И ему было немного обидно, оттого что они порою обращались к нему и вовлекали его в свой разговор, и было немного обидно слышать, как они смеются своим шуткам, и было жаль, что Ханин так много знает и так много видел, а главное — так хорошо рассказывает о том, что видел.

Возвращались Ханин и Лапшин домой всегда пеком — шли по набережной Невы, глядели на разведенные мосты, на баржи, сонно плывущие по реке, на длинно целующиеся парочки, на зеркальные

стекла особняков и говорили оба не много, несколько фраз за весь путь.

Васька, когда они входили, открывал глаза, бессмысленно вглядывался в Ханина, потом спрашивал:

— Поздно?

И засыпал мгновенно. На лице его было грозное выражение, и если он засыпал на спине, то так и просыпался. И сны у него были простые, — он видел самолет, или деревья, или лодку.

— Ну что лодку! — раздражался Ханин. — Ты в ней плыл?

— Нет, — виновато говорил Васька, — просто лодка и лодка.

Как-то, отправившись к Адашовой, Лапшин и Ханин обогнали Ваську Окошкпна возле кинематографа «Титан». Он шел, ведя под руку ту девушку, фотографии которой в изобилии валялись везде дома. Девушка глядела на него снизу вверх и смеялась чему-то, и по ее влажным, сердито-веселым глазам было видно, что она влюблена в Ваську и с наслаждением слушает тот вздор, который он ей говорит.

— Теперь пойдем им навстречу, — сказал Ханин, когда они дошли до угла.

Завидев Ханина и Лапшина, Васька отпустил девушку, и у него сделалось то выражение на лице, которое бывало, когда его распекал Лапшин.

— А, Вася! — сказал Ханин. — Тебя твоя жена ищет, мне звонила.

— Жена? — спросил Васька.

— Позвольте! — сказала девушка и пошла вперед, не дожидаясь Васьки.

— Ну, Носач! — сказал Васька.

Он побежал за девушкой, и было видно, как она вырвала у него руку и перешла на другую сторону улицы.

Адашова еще не приехала со спектакля; Ханин лег на диван и уснул, а Лапшин разобрал от нечего делать электрический уют и стал возиться с новым элементом, который принес с собой. Отвертки у него не было, он действовал лезвием ножа и тоненько насвистывал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,

Я не сплю уж двенадцать ночей...

Он работал и насвистывал, и представлял себе, что Адашова — его жена, и что он сидит в своей квартире и ждет свою жену, и что она сейчас придет, увидит починенный уют и скажет:

— Вот молодец!

В коридоре позвонил телефон, и квартирная хозяйка позвала Лапшина. Он взял трубку. Ему сказали, что сейчас в пригороде пьют двое бандитов, что хорошо бы ему поехать.

— Я бы и сам поехал, — говорил начальник, — да у меня сейчас совещание. Неудобно.

Лапшин вернулся в комнату, кончил с утюгом, прибрал на столе и спустился вниз ждать машину. Ему очень хотелось увидеть сейчас Адашову, но ее не было. Он закурил папиросу, сел в машину и спросил у Побужинского обстоятельства дела.

Потом опять засвистал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

Машина летела по прозрачным, застывшим проспектам, и когда выехали из города, то увидели отблески вечерней зари. Небо было на горизонте лимонного цвета, и там плыло длинное, узкое облако.

— Шухер должен быть, — сказал Побужинский. — Верно, товарищ начальник?

— Поведем! — сказал Лапшин.

— А правда, что Окошкин женился? — спросил Побужинский.

Лапшин свернул влево на проселок, остановил автомобиль у роши и вылез, разминая затекшие ноги. Здесь пахло прошлогодней прелой листвой, и Лапшину вспомнилось вдруг детство.

Пересекли рошу, и Побужинский постучал в окно низкого дома. Лапшин встал у двери и вынул браунинг. С грузным шумом пролетела над домом какая-то тяжелая ночная птица.

Дверь открылась; Лапшин сунул браунинг в белеющее лицо и приказал поднять руки вверх. Но в это время за домом посыпались стекла, два раза выстрелил Побужинский, и Бычков злобно крикнул:

— Тю, сволочи!

Бандиты ушли через слуховое окно и залегли в роще. Завязалась легонькая перестрелка. Три раза выстрелили с той стороны, один раз с этой. Бычков сидел на пеньке и зевал.

— Ладно, выходи! — крикнул Лапшин. — Будет дурака валять!

В роще молчали.

Лапшин взял у Побужииского наган и пошел один на бандитов. По-прежнему пахло сырой листвой. Еще два раза выстрелили. Он побежал вперед и, когда увидел, что те встают, крикнул:

— Тихо мне!

В него выстрелили в упор. Он обозлился и сбил первого с ног рукояткой нагана. Бандиты побежали — на дома, на деревню; оттуда стеной шли колхозники, разбуженные Побужинским. Тяжело дыша, Лапшин догнал того из бандитов, который был поменьше ростом, дал ему сзади плюху и навалился на него. Было слышно, как колхозники урчали с другим.

— Ладно, пойдем, — сказал Лапшин, вставая.

Он чувствовал, что в драке сломалось вечное перо, которое ему подарил Ханин. Ему было жалко пера и стыдно перед Ханиным. И болел бок: падая, он больно ударился о пень.

Отведя арестованных, он поехал к Адашовой, отпустил машину и поглядел на открытое окно, — она жила на втором этаже. Свет в ее комнате не горел, шел второй час ночи...

— Ханин! — крикнул он, сложив ладони у рта. — Давид!

Он не мог уже уйти, не повидав ее хотя бы на минуту. И что сказать, он придумал: скажет, что зашел за Ханиным.

— Ханин! — опять позвал он.

Прошли две девушки и засмеялись чему-то, наверно он смешно выглядел на мостовой во втором часу ночи. Он подождал, пока они исчезли за углом, огляделся и в третий раз крикнул:

— Ханин, Ханин!

— Это вы, Иван Михайлович? — спросила Адашова, выглядывая из окна.

— Ханин у вас?

— Нет, он ушел.

— А я за ним, — сказал Лапшин. — Глупистика получилась.

Слово «глупистика» он никогда не употреблял, и потому, что он соврал про Ханина, и от этого слова ему стало стыдно.

— Может быть, зайдете? — спросила она тем топом, каким спрашивают, зная наверняка, что время позднее и что никто не зайдет.

— Черепушечку чаю разве что выпить...

— Ну так идите, — сказала она и скрылась.

Пока дворник открывал ему парадную и поднимаясь по лестнице, он испытывал чувство такого стыда, что впору было убежать, но сверху уже открылась дверь, и Адашова шепотом сказала:

— Только потихоньку через коридор, а то разбудите!..

Взяла его за руку и повела в темноту. В комнате тоже было темно. Он робко сел на стул и сказал, гляди на диван, на котором была смятая постель:

— Уже легли?

— Да, — сказала она, зажигая настольную лампу, — задремала. А вы куда делись?

— На заседание, — солгал он, — вызвали позаседать маленько.

Ему было неловко говорить о перестрелке и о бандитах — этому нельзя было бы поверить сейчас в маленькой, уютной и чистой комнатке.

— Я вам тут уютг отремонтировал, — сказал он, — теперь можно гладить...

Чаю ему не хотелось, но он сделал такой вид, что пьет с удовольствием, и выпил две чашки. Она молча смотрела на него и кутала подбородок в воротник халата; глаза у нее были сонные.

Уходя, он два раза извинялся, а когда шел по улице, то старался думать о ней грубо, теми словами и понятиями, которыми думал о женщинах вместе с другими озлобленными, голодными и вшивыми солдатами, сидя в окопах двадцать с лишним лет назад.

Но так думать о ней он не мог, потому что любил ее, и тогда он решил совсем не думать и засвистал:

Ты красив сам собою,

Кари очи...

Уже наступило утро, блистала Нева, а он шел, свистел и думал об Адашовой с нежностью, со страстью, с радостью.

Через несколько дней Адашова и Лапшин провожали Ханина, уезжавшего ненадолго в Москву. На проспекте 25 Октября нельзя было протолкаться, продавали привязанные к палочкам букеты фиалок, и Лапшин был даже без плаща. Ханин надел серое летнее пальто, купил себе и Адашовой фиалок и шел пританцовывая.

— Ах, милые, — говорил он, — что только будет в Москве! И если будет, то каких я тебе, Наташка, конфет привезу...

Сквозь стекла вагона было видно, как он ходил по коридору, точно по своей комнате, как он с кем-то поговорил и как повесил трость и портфель на крючок.

А когда поезд ушел и открылось свободное пространство путей, рельсов, стрелок и зеленых огоньков и когда стало видно розовое вечернее небо, Адашова сказала печальным голосом:

— Вот и уехал Ханин! Не поглядел спектакля!

— Поглядит еще, — сказал Лапшин.

— Да, конечно, — согласилась она.

В этот вечер Лапшин сидел у нее и слушал, как она разговаривала в коридоре по телефону, как играла на рояле, как смеялась, смотрел, как она что-то перекладывала в корзинке, как шила и искала бежевые чулки.

— Ну господи, новые чулки! — говорила она. — Ненадеванные!

И задумывалась, стоя посредине комнаты.

На другой день была генеральная репетиция при публике. Адашова волновалась и, провожая Лапшина по коридору, велела, чтобы он пришел к ней в уборную пораньше.

— Так мне будет спокойнее, — сказала она.

Он пришел еще раньше, чем она просила, и сидел на диванчике, а она гримировалась и, глядя на него в зеркало, говорила:

— Вдруг бы сейчас стук-стук в дверь — и Ханин! Вдруг бы оказалось, что он на самолете прилетел, а?

— Вряд ли, с неудовольствием скачал Лапшин.

Пока толстый парикмахер с губами, сложенными так, будто он хотел присвистнуть, прикладывая Адашовой букольку, она говорила, что вставила в текст фразу Катюшки-Наполеона.

— Знаете, эту, — спрашивала она, — помните? «Мы тут как птицы-чайки, плачем и стонем, стонем и плачем». Ничего?

— Ничего, — сказал Лапшин.

Адашова помолчала, потом прошлась по уборной и спросила, хорошо ли она выглядит. Глаза у нее по-прежнему были испуганные.

— Да не утешайте вы меня! — скачала она. — Все равно провалюсь! Мне что-то скучно, так скучно, так печально...

Прижав руки к груди, она точно прислушалась к самой себе, потом с тоской сказала:

— А Ханин не приедет!

И велела Лапшину идти в публику.

Проходя через буфет, он увидел Галю Бычкову с мужем, Побужинского, начальника с женой и Ваську Окошкина с той девушкой, которую Лапшин давеча встретил на улице. Васька аккуратно ел песочное пирожное, и когда Лапшин подошел, у Васьки сделалось настороженное и опасливое лицо.

— Добрый вечер, Окошкин! — сказал Лапшин.

Васька познакомил Лапшина с девушкой, и девушка сказала:

— Варя.

— Скоро начнут, — сказал Лапшин таким тоном, каким никогда не разговаривал с Васькой и каким обычно разговаривают старые друзья в присутствии малознакомых женщин. Тон этот означал, что все прекрасно, любезно и обходительно, и что еще долго южно разговаривать на незначительно-вежливые темы, а что во всем этом нет ровно ничего особенного.

— Приличный театрик, — сказал Васька, — культурненько обтяпано! Но в Мариинском мне больше нравится.

Лапшин хотел заметить, что Васька врет, так как в Мариинском он не бывал, но сдержался из жалости.

Они вошли в ложу, и мужчины, стоя, еще поговорили.

— Ну как? — спросил начальник у Лапшина. — Принял парад? — И, наклоняясь к своей жене, крупной и белокожей блондинке, пояснил: — Он у нас самый главный насчет артистов. Верно, Иван Михайлович? И волнуется, — засмеялся он, — ей-ей, волнуется! Волнуешься, Иван Михайлович?

— Ужасно, — басом сказал Лапшин, — прямо ужасно.

В зале погас свет, и Васька Окошкин, поскрипев стулом, сразу же обнял Варю.

Начался спектакль.

Первую сцену, изображавшую организацию лагеря, Лапшин проглядел, так как все время ждал Адашову и вглядывался в елочки, из-за которых она должна была появиться, а потом смотрел только на Адашову, слушал только ее и самого спектакля почти не замечал.

Адашова играла нехорошо.

Лапшин давно, почти на память знал ее роль, она показывала ему и Ханину у себя дома разные ее кусочки, ходила по комнате, пела, плакала, ссорилась с большим начальником, злословила, и все это было совсем иначе и несравненно лучше того, что Лапшин видел сейчас.

Глядя на нее и слушая ее голос, Лапшин испытывал сейчас такое мучительное чувство жалости к ней, что даже на секунду закрыл глаза, чтобы не видеть, как ей трудно там, на освещенной прожекторами сцене, И чем хуже она играла, тем ближе была она, тем роднее и понятнее становилась, и тем сильнее и острее делалась его любовь к ней.

В антракте он, сделав служебно-бодрое лицо, постучал к Адашовой в уборную и сел на диванчик.

Она, сложив ноги ножницами, ела бутерброд с ветчиной. Но круглые глаза ничего не выражали, кроме усталости.

— Проваливаюсь? — спросила она.

— Вот те на! — сказал Лапшин, — Даже очень неплохо!

Адашова угрожающе на него взглянула и повернулась спиной.

— А, пустяки! — сказала она, и Лапшин понял, что вовсе не пустяки.

Помолчали.

— Вы идите, — сказала Адашова, — развлекать меня не нужно!

Выйдя, он слышал, как она заперла дверь на крючок. Во втором действии она играла ровнее, но не лучше, и в антракте Лапшин не пошел к ней, а сидел в буфете с Окошкиным и Варей и слушал, как Васька рассуждал, что верно артистами подмечено, а что неверно. Подошел Побужинский, попросил у Васьки гребенку и, поправляя пробор, сказал:

— А наш Захаров изумительно дал типа! Верно, товарищ начальник? И вообще я считаю, что они у пас очень поднаторлись, артисты. Верно?

— Садись, Побужинский! — сказал Окошкин. — Тяпнем крем-сода...

Все третье действие Лапшин сидел в глубине ложи, подперев подбородок кулаком, и деловито глядел на сцену. Адашова казалась ему больной, измученной, и он сам почувствовал себя измученным и жалким. В антракте он ходил по фойе, и по курительной, и по коридорам и жадно слушал, как говорили о спектакле, Адашову никто не упоминал, только Васька многозначительно произнес:

— А публичной женщины тип не удался! Не подметила она чего-то.

Он постеснялся сказать «проститутка» — слишком уж торжественная была обстановка. Когда поднялся занавес и началось четвертое действие, Лапшина кто-то окликнул. Он встал и вышел из ложи. Захаров, уже без грима, сказал ему, чтобы он зашел к Адашовой.

— Пойдите, пойдите! — говорил он Лапшину, дружески касаясь пальцами его портупеи. — Пойдите, ей там грустно...

Лапшин быстро обогнул по коридору зрительный зал и пролез в маленькую дверцу, ведущую за кулисы. Адашова сидела у себя в уборной перед зеркалом и плакала, громко сморкаясь и откашливаясь.

— Ничего я не больная, — ответила она. — Здоровая как корова, просто настроение такое!

Она повернулась к нему и, не стесняясь своего некрасивого сейчас и жалкого лица, мокрого от слез, спросила:

— И вам небось уже стыдно за меня? Стесняетесь там, что столько времени на меня потратили? Да?

Он хотел сказать, что не стесняется, и что любит ее, и что нет для него дороже человека, чем она, но только кашлянул и поджал немного ноги.

Адашова всхлипнула и попросила его, чтобы он больше не ходил в зал и не глядел спектакль, а чтобы он подождал ее здесь. Она ушла играть дальше, а он пересел на ее место перед зеркалом и долго рассматривал принадлежности для грима: баночку с вазелином, растушовку, кисточки и большую лопнувшую пудреницу. Со сцены смутно доносились голоса, грянул одинокий выстрел. Лапшин послушал, подумал, вынул из кармана кусочек сургуча, растопил его на спичке и, слегка высунув язык, стал залеплять полоской сургуча лопнувшую пудреницу. Делал он это с присущей ему аккуратностью и точностью, и выражение его ярко-голубых глаз было таким, как в бою, когда он стрелял из винтовки по далекому врагу.

Заклеив пудреницу, он взял ее в левую руку, отставил далеко от себя и оглядел работу с некоторой враждебностью.

Домой он провожал Адашову пешком. Шли молча. Лапшин нес ее чемоданчик и курил.

— Знаете, почему я провалилась? — спросила Адашова.

— Ну почему?

— Потому что не было Ханина, — сказала она с раздражением и с отчаянием, и голос ее задрожал. — Не было Ханина, и я провалилась. А если бы он был, то я бы не провалилась...

Лапшин молчал.

— Я это знала, — говорила она, — я больше не могу так, это ужасно, И не уходите! Пойдемте ко мне, я вам чаю дам. Хорошо, Иван Михайлович, миленький?

Он выпил у нее чаю, помолчал с нею, а потом пешком шал домой, морщил лоб и насвистывал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

Когда Лапшин вернулся домой, Васьки еще не было, и только Патрикеевна храпела в своей нише. Уже наступало утро, он отворил окно и долго из окна глядел на бульжники своего переулка. Потом он деловито разделся, лег в постель и сразу же уснул тяжелым, неосвежающим сном. Проснувшись часов в семь и чувствуя себя разбитым, он взял книгу Костомарова и, пофыркивал носом, стал читать. Исторические картины проносились перед ним, но далеко и смутно, точно на них лежала тень, и он догадывался, что это за тень, по ничему не мог поделаться с собой, а только раздражался на себя и вздыхал с возмущением.

Завтракая, он несколько раз взглянул на пишущую машинку Ханина, прикрытую клеенчатым чехлом, а потом чувствовал только желание на нее глядеть, но оборотился к ней спиной и не глядел.

Лицо у него подсохло за ночь, он заметил это, бреясь, по глаза не изменились, в них было по-прежнему упрямое, зоркое и смешливое выражение.

«Все пройдет, — думал он, шагая в управление, — все пройдет, и ничего ведь, собственно, даже не случилось. И не было ничего. Все по-прежнему».

И он отмечал про себя знакомые переулки, и проходные дворы, и витрины, и вывески магазинов, и освежающий весенний утренний ветерок — это как бы подтверждало его мысли о том, что все по-прежнему и что ничего решительно не изменилось.

Было еще совсем рано. Он отворил свой кабинет, отодвинул кресло, аккуратно и методично налил в чернильницы чернил, отточил карандаши и поставил их в стаканчик, переложил на столе бумажки, сдул уроненный пепел и тотчас же, не терпя ни секунды, принялся читать протоколы допросов и там, где были поясности, красным толстым карандашом ставил вопросительные знаки или очеркивал то существенное и важное, что ускользало от внимания следователя и что требовало еще дополнительной разработки. Иногда, читая, он улыбался, иногда хмурился и почесывал карандашом в ухе, иногда

поправлял орфографическую ошибку, иногда говорил; «Ах ты, глупый человек!» или что-нибудь в этом роде укоризненное и сердитое.

За спиной его была огромная площадь Урицкого, и когда у него уставали глаза от плохих почерков, он на минуту поворачивался к окну и, щурясь, смотрел на серый асфальт, на автомобили, на колонну и на дворец — все это было залито ярким солнцем. Лапшин покуривал, потягивался и опять читал.

Потом он допрашивал Мамалыгу и людей из его компании и следил, как они ведут себя на очной ставке, ловил их на лжи, сталкивал и спрашивал;

— Это точное показание? Или вы еще будете вывертываться? А? Да или нет?

И в его ярко-голубых глазах были такая уверенность, и такое упрямство, и такая сила, что все хитрейшие построения Мамалыги рушились одно за другим. Он уныло отбрехивался вначале, а потом и вовсе замолчал, только поводил зрачками по комнате да ежесекундно стряхивал с папиросы пепел, постукивая по ней пальцем.

К трем часам Лапшин с Васькой поехали в суд слушать дело Тамаркина. Тамаркин сидел на скамье подсудимых в крахмальном воротничке и часто поглядывал на Ваську Окошкина с таким видом, будто хотел сказать:

— А? Кто мог думать, что это так здорово получится?

Когда защитник говорил речь и воскликнул, что Тамаркин был «вовлечен», тот заплакал и отодвинулся от своего соседа по скамье подсудимых, как бы показывая этим, что защитник прав и что он, Тамаркин, действительно вовлечен.

Васька слушал защитника с недовольным лицом, а прокурора — с довольным и кивал головой, когда прокурор поносил Тамаркина. Тамаркину дали пять лет, и он, слушая приговор, как бы даже удивился, что, в общем, дешево отделался, но вслед за этим сделал мутные глаза и поискал сзади себя в воздухе, точно ему было дурно.

— Просто-таки артист! — говорил Васька по дороге в управление. — Верно, Иван Михайлович?

Лапшин просидел у себя в кабинете до половины первого и уже собирался уходить, когда позвонил телефон. Адашова спрашивала, не приехал ли Ханин.

— Нет, — сказал Лапшин, — у меня он не был и мне не звонил.

От звука ее голоса к лицу у него прилила кровь, он вытер платком шею и покашлял. Адашова сказала, чтобы он приехал к ней, и он поехал, хотя знал, что лучше не ездить. Опять сидели на подоконнике, и опять у Адашовой были старательные глаза, а он пытался не смотреть на нее, на ее розовый, ненакрашенный рот и не видеть ее испуганного выражения, — он знал теперь, отчего лицо у нее испуганное и зачем он ей нужен, когда Ханина нет. Ни с кем больше она не могла говорить о Ханине, а с ним могла, и она это делала, не жалея Лапшина. Меньше всего она думала о нем — она думала только о своей любви к Ханину и о том, как бы эта любовь не показалась Лапшину унижительной, и если говорила осторожно, то не для Лапшина, а для себя самой. Она выпрашивала его о Ханине и о покойной Лике, и о том, как они жили, и о том, какая у них была в Ленинграде квартира, и что за человек была Лика. И в тоне ее Лапшин чувствовал ревность, и чувствовал, что ей было бы приятно, если бы он сказал о Лике худо и об их жизни худо. Но он говорил как раз обратное, и ему было приятно, что ей тяжело.

— Да вы же сами Лику видали! — говорил он. — Она веселая, и простая, и гостеприимная, и умная была, чего там! Жили — каждому завидно...

Лапшин взглянул на нее. Щеки у нее горели, и в глазах было уже другое выражение — злобное.

— Конечно, — сказала она, — Лика бы а а прелестная женщина.

Сидя на подоконнике, она грызла печенье. Крошки сыпались ей на колени, она стряхивала их частыми движениями ладони и молчала.

— Ну, я поеду, — сказал Лапшин.

— Уже? — спросила она. — А может, пойдём в ресторанчик?

Пошли в ресторанчик. Есть Лапшин не мог и не знал, что нужно делать в ресторанчике, когда играет музыка и все кругом пьяные.

— Нет, тут плохо! — сказала Адашова. — Проводите меня.

Он проводил, и когда возвращался домой, то подумал, что каждый день ходить на свои собственные похороны — невеселое занятие.

А утром очень рано приехал Ханин, сел на постель к Лапшину, разбудил его и стал рассказывать о Москве и о том, что теперь уже выяснилось, летит он или нет...

— Так летишь? — спросил Лапшин.

— Да конечно же лечу! — сказал Хании. — Все уже установлено окончательно.

— А куда?

— Мое дело, — сказал Ханин, — моя маленькая тайна.

Лицо у него было измученное и веселое. Он закрывал один глаз и, надавливая пальцами висок, спрашивал:

— Вторые сутки мигрень. Неужели нельзя ничем помочь?

Разбудил Ваську и подарил ему металлический никелированный зажимчик неизвестного назначения, Патрикеевне подарил апельсин из мыла, и Ашкенази — великолепную сигару.

— Вот и приехал старик о дом! — говорил он, расхаживая по комнате. — Все ему рады, всем гостинцев привез, хороший, мягкий, добрый старичина, благодетель...

Потом, упершись тростью Ваське Окошкину в живот, спрашивал:

— Женился? Да женился или нет? Не женился?

А когда Лапшин уже собрался уходить, он вдруг заспрашивал о спектакле: как прошло и как играла Адашова?

— Ничего, — хмуро сказал Лапшин. — Ты сам погляди.

— Я ей конфет привез, — сказал Ханин, — Наташке-то...

В выходной день Ханин попросил у Лапшина автомобиль съездить в оранжерею за цветами для Ликиной могилы. Патрикеевна вдруг сказала, что лучше не просто положить цветов, а лучше посадить, и что если Ханин купит рассады, то она поедет вместе с ним и посадит.

— Давай, если ты такая добрая, — с удивлением сказал Ханин. — Поедем.

Поехал и Лапшин. По дороге взяли с собой Адашову, долго все вчетвером ходили по душной оранжерее за Патрикеевной и смотрели, как она выбирает и препирается с садовником. Наташа ела миндаль и не поднимала глаза — она еще больше осунулась за это время, и еще больше веснушек выступило на ее лице.

На кладбище она не подошла близко к могиле, а стояла опершись плечом на ствол молодой березы и не отрываясь смотрела на Ханина, который, сидя на корточках, без шляпы, помогал Патрикеевне сажать цветы.

Был теплый вечер, пахло влажной землей и молодыми березами, и на кладбище, где-то за еще черными, но уже покрытыми

налившимися почками ветвями, смутно белели двое людей. Они ходили меж могил, переговаривались, и порой женский голос пел:

Лишь гимназистка с синими глазами...

И оба смеялись.

— Ты не дави, не дави на цветочки-то! — говорила Патрикеевна Ханину. — Не жми их...

Он робко улыбался, и почему-то, глядя на него, казалось, что он сейчас замахнет своими длинными руками и улетит, и в этом не будет ровно ничего удивительного, а удивительно, что он сажает цветы и сидит на корточках.

Лапшин нашел себе камень и, удобно устроившись на нем, курил папиросу, глядел то на Ханина, то на Адашову и, тоскуя, думал, что хорошо бы сейчас ехать по длинной-длинной дороге на возу и дремать.

Опять женский голос лукаво запел:

Лишь гимназистка с синими глазами...

Назад ехали молча, одна Патрикеевна ворчала, и Лапшину было жалко и больно смотреть на Наташу.

Она, как давеча, ела свой миндаль, рот у нее запекся, и лицо было страдающее и злое.

Ночью Ханин трещал на машинке, а когда кончалась страница, пел:

Та гимназисточка...

У него была бессонница. Он стыдился ее и, плотая веронал, говорил, что это от живота.

В канун Первого мая Васька Окошкин сообщил, что женится, а первого, после парада, в полной форме и даже в перчатках, пришел домой за вещами.

— Ух у тебя вещей! — говорила ему Патрикеевна, швыряя на середину комнаты носки, старый ремень и грязные гимнастерки. — За твоими вещами на грузовике приезжать. На, бери вещи! — Вещи ему подай!..

— И синий штатский пиджак, — плачущим голосом говорил Васька, — там в кармане был такой футлярчик металлический...

Лапшин и Ханин сидели на стульях рядом, и обоим было жалко, что Васька уезжает.

— Жалованье мне заплати! — сказала Патрикеевна. — В чем дело?

— И была у меня еще такая вещичка из клеенки, — ныл Васька, — что ты, правда, Патрикеевна?...

— А сам ищи! — сказала Патрикеевна. — Раз так, то ищи сам! Хошь бы десятку подарил; дескать, на, старуха, купи себе пряничков, пожуй. Не буду искать!

Она села, выставила вперед свою деревяшку и с победным видом встряхнула стриженной головой. Только что у себя в нише она выпила мерзавчик водки, и теперь казалось, что ее все всегда обижали и что надо наконец найти правду.

— Тяпнула небось, — сказал Васька, запихивая все свое добро в корзинку и в чемодан.

— На свои тяпнула, — сказала Патрикеевна. — На твои не тяпнешь.

— Ура! — сказал Васька.

Уложив вещи, Васька сел на свою кровать, на которой уже не было матраца и подушек, и помолчал. Ему было чего-то неловко и казалось, что Лапшин недоволен.

— На свадьбу не зовешь? — спросил Ханин.

— После получки, — сказал Васька, — обязательно.

Патрикеевна вдруг засмеялась и ушла в нишу.

— Психопатка! — обиженно сказал Васька.

Он вообще был склонен сейчас к тому, чтобы обижаться.

Поговорили о делах, о комнате, в которой Васька будет теперь жить, о теще.

— Теща ничего, — вяло сказал Васька, — только все меня за руку берет. Задушевная!

— А ты держись! — сказал Ханин, помолчал и засмеялся.

— Чего, Носач, потешаетесь? — спросил Васька.

— А ничего, — сказал Ханин, — мне на секунду показалось, что ты не очень хочешь туда ехать.

— Пустяки, — сказал Васька и стал надевать перед зеркалом фуражку.

Фуражка у него была новая, и надевал он ее долго: сначала прямо, потом несколько наискосок и кзади. Ханин следил за ним, поднял руку и крикнул:

— О-то-то! Хорош!

— Хорош?

— Хорош, — сказал Ханин.

— Ладно, — сказал Васька. — До свиданьица!

Он подошел к Лапшину, подщелкнул каблуками и козырнул, глядя вбок.

— Будь здоров, Вася! — сказал Лапшин и подал Окошкину руку.

— Не поминайте лихом! — сказал Васька, по-прежнему глядя вбок.

— Чего там! — сказал Лапшин.

Попрощавшись с Ханиным, Васька взял корзину, чемодан и постель. Лицо у него сделалось совсем обиженное.

— Легкой дороги! — сказала Патрикеевна из ниши и захохотала.

— Счастливо оставаться! — ответил Васька. Лапшин и Ханин сидели на своих стульях. Ханин морщил губы.

— Заходи в гости! — сказал Лапшин.

Васька ушел, и Патрикеевна сказала:

— Баба с возу — кобыле легче.

Она достала из шкафа постель Ханина, уложила ее на пустую кровать и повесила в изголовье бисерную туфлю для часов.

— А на него я жаловаться буду! — сказала она. — напишу куда следует. Повыше группкома тоже есть начальство.

Солнце ярко светило во все большие окна, с улицы доносилась глухая музыка, и настроение у Лапшина было и приподнятое и печальное. Он сидел на венском стуле, подобрав ноги в новых сапогах, и жевал мундштук папиросы. А Ханин расхаживал по комнате с рюмкой коньяку, которую все собирался выпить, и говорил:

— Я люблю, чтобы в праздник меня помяли, люблю устать, люблю, когда колонна останавливается и девушки танцуют. Налить тебе коньяку, Иван Михайлович?

— Нет, — сказал Лапшин.

И ему вдруг захотелось не видеть Ханина и остаться комнате совсем одному, сесть у стола, упереться лбом в холодную клеенку и помолчать.

Четвертого мая Ханин выклянчил у Лапшина разрешение поехать с Бычковым на операцию. Лапшин сам поехал — экзаменовал в школе начальствующего состава, потом допрашивал, потом совещался у начальства и пришел к себе в кабинет только во втором часу ночи. Открывая дверь, он услышал, что звонит телефон, но когда вошел и взял трубку, оказалось, что уже разъединили.

На столе лежали непрочитанные в суете дня сегодняшние газеты; Лапшин сел в кресло, наморщил лоб и стал читать.

Зазвонил внутренний телефон.

Читая, Лапшин сиял трубку и сказал, что слушает.

— Иван Михайлович, — сказала телефонистка Верочка, — вас Бычков нашел?

— А ищет? — спросил Лапшин.

— Все время ищет. — Она включила кого-то и выключила. Лапшин слышал ее говорок: «Милиция, милиция, Четыре? Даю». — Вы слушаете? — громко спросила она. — Мне кажется, что-то случилось.

— Ладно, — сказал Лапшин, — посмотрим. Я теперь буду в кабинете.

Он пролотил скопившуюся вдруг во рту слюну, повесил трубку и стал ходить по комнате. Вынул часы, положил их на стол и косился на циферблат. Прошло три минуты, семь. Лапшин вызвал секретаря и велел ему послать машину с дежурным по тому адресу, куда уехал на операцию Бычков. Пришел начальник и спросил:

— Чего у тебя, Иван Михайлович?

— А черт его знает, — сказал Лапшин. — Шухер, кажется, подняли на проспекте Маклина.

— Ишь ты! — сказал начальник.

— Тут одни дядька поехал, — сказал Лапшин, — Ханин, знаешь? Я тебе говорил — пишет он чего-то про нас.

— Ну?

— Он смелый человек, но штатский, — сказал Лапшин, — в очках...

— Ат, ей-богу! — с досадой сказал начальник и стал читать газету.

Зазвонил телефон. Лапшин спокойно взял трубку и узнал голос Бычкова.

— Ну? — угрожающе спросил он.

— Товарищ начальник, Ханина ранили в живот, — сказал Бычков, — положение опасное.

— Что? Ханина ранили в живот? — повторил Лапшин. — Ну?

— Я сам в клинике, — говорил Бычков, — положение очень опасное. Приезжайте, пожалуйста, очень опасное положение!

Лапшин повесил трубку и подумал.

— Кто вам разрешил посылать журналиста на такое дело? — фальцетом спросил начальник. — Я вас под суд отдам!

— Слушаюсь, — сказал Лапшин. — Можно идти?

— Можете!

Лапшин сделал кругом, спустился вниз и сел за руль машины. Возле ворот клиники стоял Бычков в расстегнутом макинтоше и в кепке блином.

— Ну? — спросил Лапшин.

— Краденой обуви не оказалось, — говорил Бычков, идя чуть сзади Лапшина по дощатому узенькому тротуару во дворе клиники, — ни одной пары, перепрятали. Так. Тогда я беру в тумбочке враз четыре паспорта, один стертый, и документики.

— Короче! — сказал Лапшин.

— Пока я шурую, — заторопился Бычков, — этот кулак просит разрешения с ребенком проститься. А Ханин ему: «Пожалуйста!» А он из-под ребенка браунинг и как начнет сажать! Я с антресолей ему на холку. Ну сбил, обезоружил. Так. Теперь сюда, в подворотню, товарищ начальник.

— Умирает? — не оборачиваясь, спросил Лапшин.

Они вошли в дверь с блоком и очутились в вестибюле клиники. Ярko блистали грушевидные лампы, и старик швейцар без ливреи, в одной фуражке с золотом и в деревенской рубахе, сидя на диване, вязал чулок.

Бычков скинул макинтош и кепку, положил на диван возле швейцара и разгладил ладонью волосы. Швейцар принес им халаты, и теперь сделалось видно, какое у Быčkoва измученное и задерганное лицо.

— Я полностью несу ответственность, — тихо и быстро говорил он в спину Лапшина, когда они поднимались по лестнице, — полностью, лично я. Обманул меня враг...

— Ты замолчишь? — спросил Лапшин.

По длинному кафельному коридору, в конце которого поминутно трещали электрические звонки, Лапшин и Бычков дошли до двери с матовым стеклом и с цифрой «сорок». Лапшин сморщил лицо и отворил дверь, но палата была пуста, и он сразу же попятился.

— Ничего, ничего, — ласковым шепотом сказал Бычков — Его в операционную взяли. Зайдем пока...

И он надавил в спину Лапшину и вошел сам за ним в маленькую палату.

Здесь все было прибрано и вещи расставлены с той вечной, ничем не колеблемой аккуратностью, какая бывает только в гостиницах да в больницах. Стояла кровать, тумбочка, и стул стоял нелепо, как не ставят в комнатах, в углу. На тумбочке была фаянсовая мисочка, из которой, видимо, поили Ханина. Она имела специальное название, но Лапшин так и не вспомнил это название, не успел. Заметив, что рядом с мисочкой лежат очки Ханина, сильно выпуклые стекла с одной торчащей оглоблей, Лапшин поглядел на очки и поискал пи стенам и в углах, надеясь увидеть еще что-нибудь из знакомых вещей — трость или шляпу, но ничего больше не было. Только белый Бычков стоял посредине белой начаты, сунув руки в карманы штанов.

Оттого что в палате был всего один стул, ни Лапшин, ни Бычков не сажались и простояли молча до тех пор, пока на высокой тележке не привезли Ханина.

С тележки свешивалась по обе стороны простыня, и Ханин был не то завернут, не то покрыт простыней весь, и санитары, и сестра, и

врач — все, кто привезли его, удивились, увидев в палате посторонних людей, а врач властным голосом приказал им обоим выйти.

Они вышли и из коридора слушали, как, тяжело ступая, санитары что-то делали в палате, как двигали потом почему-то кровать и как врач тем голосом, которым разговаривают маляры или обойщики в комнате, покинутой хозяевами, приказывал что-то и обругал вдруг сестру.

Первой выкатилась с шипящим звуком тележка, потом вышли санитары, потом врач, с незакуренной папиросой в твердых плоских губах, и сказал, что пуля извлечена, швы наложены, но положение тяжелое и что, если Лапшину угодно, он может остаться хоть до утра. Говоря, он глядел на орден Лапшина и слегка двигал бровями.

Ханин лежал на спине без подушки, покрытый до плеч простыней, и казался мертвым. Лицо его странно выглядело без очков и имело новое, страдающее и детское выражение.

Лапшин взял себе из угла стул, отпустил Бычкова и просидел не двигаясь, пока не взошло солнце. Ханин очнулся, его тошнило. Лапшин с медленной и ловкой осторожностью много раз раненного солдата обтирал лицо Ханина, подставлял тазик и, когда сестра выходила, считал Ханину пульс.

Окончательно очнувшись, Ханин сказал:

— Когда я был маленьким, сестра меня пугала: не сердись, а то ты лопнешь и обваришь себе ноги! Теперь я знаю, что это такое, Надень-ка на меня очки!

Лапшин, сложив губы трубочкой, надел на Ханина очки и велел ему молчать. Ханин закрыл одни глаз и сказал:

— Старик развалился на части. А какой был достойный, почтенный старик!

Отдышавшись, он добавил:

— Иди домой, Иван Михайлович! Черт бы подрал твоих разбойников! Иди, иди!

Сестра зашипела на него. Он замолчал и закрыл под очками глаза. Лапшин еще посидел, а приехав домой, позвонил Адашовой и рассказал ей все. Уже наступил день, гремели трамваи, и Патрикеевна, пока он разговаривал, стояла с корзинкой в руке — собралась на

рынок. Повесив трубку, Лапшин стал снимать сапоги, а Патрикеевна смотрела на него со злобой.

— Ну чего смотришь? — кряхтя сказал он. — Иди себе, иди, бабам на рынке расскажи...

Сердце тяжело бухало у него в груди, и, когда Патрикеевна ушла, он сделал себе холодный компресс и положил на грудь. Вода текла под мышкой и по животу. Лапшин кряхтел от ощущения пропасти, в которую падал вместе с перебоями сердца, и, морща лоб, разглядывал потолок, по которому бродили солнечные пятна.

Позвонила Адашова и сказала, что ее не пускают в клинику и что она сейчас приедет к Лапшину. Придерживая рукой мокрую тряпку на сердце, он прибрал комнату, подмел, застелил постель и на электрической плитке стал жарить яичницу, чтобы накормить Наташу, когда она приедет. И когда она приехала, он был уже в гимнастерке и в портуpee, и глаза у него были ясные и яркие как всегда, и сапоги его поскрипывали, и нельзя было подумать, что он болен и что ему плохо.

Он думал, что она заплачет, или ей сделается дурно, или она начнет упрекать его, но ничего подобного не произошло. Правда, подбородок у нее вздрагивал, и она сидела съежившись, в позе, необычной для нее, и глаза у нее имели странное выражение — растерянное и тоскливое, но спрашивала она только о подробностях самого ранения, как и куда попала пуля, как ее извлекли, сколько длилась операция, много ли Ханин потерял крови, что он чувствует сейчас, а главное — когда к нему наконец пустят.

— Я бы с ним посидела, — говорила она, — я умею ходить за больными. У меня отец в крушение попал, и я все ему делала не хуже, чем фельдшерица... И я бы ему болтать не давала, он болтает, наверно, много...

На ее лице было детское, умоляющее выражение. Она встала и посидела на кровати Ханина.

— Это здесь он спал? — сказала она. — Но он же очень длинный, у него ноги, должно быть, торчали.

И она попробовала, пружинит ли сетка.

Потом вдруг она потянула пальцами Лапшина за рукав гимнастерки и сказала;

— Вы только не мучайтесь, Иван Михайлович. Вы же не виноваты, вы нисколько не виноваты. И все это кончится благополучно, вот посмотрите!

И она еще раз потянула его за рукав.

— Покушайте, — сказал Лапшин. — Яичница простыла.

Постучав к Ашкенази, он рассказал ему о случившемся, и они втроем пошли в клинику. Адашова шла впереди, сунув руки в карманы своей вязаной кофточки, и часто встряхивала головой, а Лапшин слушал болтовню Ашкенази и глядел на Наташу, на ее независимую и легкую фигуру, на ее тонкую шею, на ее заштопанный чулок.

Но в клинике присутствие духа покинуло ее. Она сжалась, побледнела, и когда надевала халат, то долго не могла попасть в рукава и завязать тесемки. В палату она пошла первой и выплянула оттуда порозовевшей, испуганно-счастливой.

— Ничего, — сказала она Лапшину, близко заглядывая ему в глаза, — честное слово, ничего. Войдемте все, только ненадолго, а потом уж я совсем с ним останусь. Только ненадолго, да?

За эти несколько минут она забрала всю власть над Ханиным себе и всем распоряжалась.

Ханин по-прежнему лежал на спине, без очков, близоруко моргал и просил шипящим голосом:

— Данте покурить! Дайте немножко покурить! Наташка, Наташенька, один раз только затянуться...

— Нельзя, миленький! — почему-то шепотом говорила Наташа, — ну нельзя...

Она уже что-то делала в палате, мыла какой-то стакан, потом ушла и принесла вату и таз, чтобы вытереть Ханину лицо.

— Я не люблю мыться, — говорил он, — я не считаю это нужным. И все равно, роковая развязка близится.

— Теперь уходите, — сказала Наташа Лапшину. — И вы, доктор, уходите. Я сама теперь здесь буду. Я себе тут кресло поставлю.

— Покурить, сволочи! — сказал Ханин жалобно. — Ну Иван Михайлович!

Приехав в управление, Лапшин прямо прошел к начальнику и доложил ему про Ханина.

— Цветов надо ему послать, — сказал начальник. — Неудобно, на нашем деле пострадал. Как ты считаешь?

— Можно, — кисло сказал Лапшин.

— Не любит?

— Да нет, можно, — сказал Лапшин.

— Ерунда получается, — сказал начальник. — Мне уже из Москвы звонили, из газеты. Что да как? Ерундистика!

Помолчали.

— А на меня ты не обижайся, — сказал начальник. — Опять я погорячился вчерашний день. Потом разберемся.

— Так точно, — сказал Лапшин.

Половину дня он проработал спокойно, но потом начал волноваться так, как не волновался уже много лет. Когда-то, еще во время войны, он был тяжело контужен, не лечился, и теперь раз в три-четыре года его мучили припадки, наступление которых он точно распознавал и которых мучительно стыдился. При полной ясности сознания у него вдруг начинала неметь левая нога, в голове подымался треск, горело лицо, и откуда-то изнутри шли потрясающие все тело короткие, сильные, болезненные спазмы.

Допрашивая знахаря Бочарова, он почувствовал приближение припадка, позвонил и, когда Бочарова увели, запер за ним дверь на ключ и лег на диванчик в нелепой, навсегда установленной позе, про которую он думал, будто она помогает. Секретарь отворил снаружи своим ключом дверь и, поняв в чем дело, поставил Лапшину воду, подтянул шнур с кнопкой для звонка поближе и, как было установлено, оставил его одного.

«Сорок восемь, сорок семь, сорок шесть, — считал Лапшин, чтобы успокоиться, — сорок три, сорок два...»

Его передернуло, он мысленно выругался и со злобой засопел носом. И вдруг, первый раз за всю свою жизнь, он с отчаянием и с болью и со страстью захотел, чтобы сейчас с ним здесь была женщина, которую он любил, чтобы она села рядом с его беспомощным, грузным, страдающим телом, чтобы она расстегнула ему ремень, сняла револьвер и расстегнула ворот гимнастерки, разула бы его, подставила под висящую ногу стул и сделала все то, что может сделать только любящая женщина и чего никогда никто ему не делал.

«Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, — считал он, — тринадцать, двенадцать...»

Его подкинуло, он стал сползать с диванчика, но уперся пальцами в пол и опять улегся в нелепой позе и опять стал считать от тысячи назад.

«Я, конечно, хуже его, — думал он, — я ничего не знаю, а он знает много и видел много, и вообще он человек замечательный, умный человек, честный, а я что? Я себе работаю и работаю... И, конечно, он опасно раненый, и вообще он известный журналист, и его жизнь в опасности, а моя вне опасности...»

Секретарь сунул голову в дверь и сказал, что доложит начальнику и позовет доктора.

— Стрелять буду, — сказал Лапшин, — как, как, как...

Дверь захлопнулась. Он встал, лег животом на стол и снял телефонную трубку.

«А моя вне опасности, — рассуждал он, стыдясь сознаться себе, что звонит в клинику не потому, что хочет узнать, как здоровье Ханина, а потому, что хочет услышать голос Адашовой. — Она скажет — и все, — думал он, — я же понимаю».

Телефонистка Лебедева, которую Лапшин узнал по голосу, спросила номер, но он не мог назвать, заикался, и она поняла, зная о Ханине, что ему нужна клиника. Он лежал животом на столе, сопел носом и слышал, как она вызывала сначала Бычкова, чтобы узнать клинику и номер палаты, потом коммутатор клиники, потом кого-нибудь из палаты. Подошла Наташа. Лебедева ей сказала, что с ней будет говорить Лапшин, и выключилась.

— Ничего, все хорошо, — говорила Наташа. — Вы слушаете, Иван Михайлович?

— Да, — с силой сказал он.

— Были врачи, — думая, что он плохо слышит, громко говорила Наташа, — все идет хорошо, спокойно. Вы заедете?

— Да, — сказал он.

— Есть ему и пить нельзя и долго будет нельзя, — продолжала она. — Я на репетицию не поеду и все время тут буду, мне позволили...

Он тихонько повесил трубку и стал сползать со стола, чтобы лечь на диванчик, но, лишившись опоры, он упал прямо на пол, на паркет, дурно пахнувший мастикой и опять принял ту нелепую позу, которая, по его мнению, ему помогала. В голове у него стоял треск, похожий

на треск гранат, судороги сотрясали все его большое и сильное тело, он ловил ртом воздух, и в ярко-голубых глазах его было сосредоточенное выражение — он старался не потерять сознания и не застонать.

Через несколько минут отворилась дверь и вошел начальник. Увидев злобные глаза Лапшина, он сказал ему:

— Но, но, не дури!

И, усевшись возле него на корточки, стал делать то, чего никогда не делала Лапшину женщина: он сиял с него сапоги, расстегнул гимнастерку, ремень, портупею, погладил его по голове и подложил ему под затылок свернутый плащ. Постепенно в кабинет набивался народ, и Лапшин видел, как плачет Галя Бычкова и как ей что-то говорит, прогоняя ее, бледный Васька Окошкин.

Потом пришли врач и санитары, Лапшина уложили на носилки и унесли. В больнице он пролежал два дня, и за это время у него побывали все, кроме Наташи и Ханина. Из больницы он поехал прямо в клинику, сел в Наташино кресло и долго с удовольствием глядел на небритого, худого и веселого Ханина. И на Наташу он тоже глядел с удовольствием и угощал ее купленными по дороге слоеными пирожками.

Недели через две, поздней ночью, когда Лапшин, лежа в постели, читал описание Бородинского боя, вдруг явился Окошкин, оживленный, с бутылкой портвейна в кармане и с коробкой миндального печенья в руке.

— Зашел на огонек, — моргая от яркого света, сказал Васька, — старых друзей проведать. Как живете, Иван Михайлович?

— Явился, барин! — сказала из ниши Патрикеевна. — Без вас ничего жили, с вами хуже.

— А ты как? — спросил Лапшин, точно виделись они раз в год, а не каждый день.

Васька, раскачиваясь на стуле, сказал, что живет он чудно, но что есть неувязки.

— Не качайся, — сказал Лапшин, — в глазах рябит.

Ему было очень интересно, что за неувязки у Васьки, но он не спрашивал его и молча пил отвратительный портвейн.

— Чудная штука! — говорил Васька, — Верно, Иван Михайлович? Ароматная, легкая, Я слышал, будто английские лорды эту штуку тяпают по рюмочке после обеда. А у нас бутылка семь рублей, довольно дешево!

— Вряд ли тяпают, — сказал Лапшин, — уж тогда я на них удивился бы. Политура — и то лучше.

Они погрызли миндальное печенье. Васька снял, наконец фуражку, побродил по комнате, повздыхал и спросил, что Ханин.

— Да прыгает, — сказал Лапшин. — Ты меня давеча утром уже об этом спрашивал...

— Влип парень! — сказал Васька. — Подумать только, в живот схватил ранение!

— Ну? — спросил Лапшин.

— Да я так просто, — сказал Васька. — Чего вы нукаете?

Лапшин улыбнулся, сунул за щеку два миндальных печенья и взял в руки описание Бородинского сражения. Васька еще покачался на стуле и пошел в гости к Ашкенази. Вернувшись, он сказал, что все в порядке, но что вредный старик спит и в рецепте ему отказал.

— В каком рецепте? — спросил Лапшин, не отрываясь от книги.

— Да нервы у меня, — сказал Васька. — Организм расшатался.

— Поди к черту! — басом сказал Лапшин. — Нервы у него...

Зачитавшись, Лапшин не заметил, что Васька разулся и лег на кровать Ханина. Он лежал, заложив руки под голову и задрал ноги в вишневых носках. Лицо у него было грустное, он глядел в потолок и вздыхал.

— Чего, Вася? — спросил Лапшин. — Худо, брат, тебе?

— Худо, Иван Михайлович, — виновато сказал Васька. — Верите ли, пропадаю!

— Ну уж и пропадаешь! — сказал Лапшин.

— Да заели, — крикнул Васька. — На котлеты меня рубят.

Быстро усевшись на кровати Ханина и вытянув вперед голову, он стал рассказывать, как жена и теща подсмеиваются над ним за то, что он помогает сестре, как его, Ваську Окошкина, заставляют по утрам есть овсяную кашу, и как они водили его в гости к тещиному брату — служителю культа, и как этот служитель культа ткнул Ваське в лицо руку, чтобы Васька поцеловал, и что из этого вышло.

— Чистое приспособленчество! — скорбно говорил Васька. — Таковую мимирию развели под цвет природы, диву даешься, Иван Михайлович. Ну не поверите, что делают! И вещи покупают, и все тянут, и все мучаются, и все кряхтят, и зачем, к чему — сами не знают. И едят как-нибудь и мне в управление ни-ни! Булочку дадут с собой, а там, говорят, чаю. Чтоб я пропал!

— Ошибся в человеке? — спросил Лапшин.

— А хрен его знает! — сказал Васька. — И он стал прыгать по комнате, натягивая на себя сапоги.

— Главное дело что, — говорил он, обувшись, — главное дело — это как они меня терзают. Ну все им не так! Вилку держу — не так, консервы доел — не так, на соседа поглядел — не так. И всем я плох. Вычитала теща, что уполномоченные бывают сами из жуликов, и ко мне с подходцем: «А вы сами не жулик бывший?» — Сами вы, говорю, знаете кто?

— Кто? — спросил Лапшин.

— Ладно, — сказал Васька, — спите, Иван Михайлович! Говорить — только нервы портить.

Он доел печенье, допил портвейн, еще раз со скорбью оглядел комнату и уже из двери сказал:

— Поверите, гимнастерку на работе чернилами замамаи — боюсь домой идти. Что с ребенком сделали, а?

— Они тебя вышколят, — из ниши сказала Патрикеевна, — шелковый будешь.

Васька махнул рукой и ушел.

Видеть Адашову Лапшину не хотелось, и потому у Ханина он бывал в те часы, когда в театре шли репетиции, и когда встретить Наташу он не мог. Но во всем том, что окружало Ханина — в мелочах, в пустяках, — Лапшин чувствовал ее присутствие: то на тумбочке лежала книжка, о которой она, в свое время, говорила Лапшину, то в вазочке, знакомой ему, был налит домашний компот, то на изголовье кровати висел шарфик, принадлежавший ей... И самое ее имя Ханин вспоминал куда чаще, чем раньше, и совсем иначе, чем раньше, — с плохо скрываемым раздражением и с какой-то постной миной при этом. И раздражение и постное лицо были Лапшину оскорбительны. Он сопел носом, крякал и старался не глядеть на Ханина.

Ханин поправлялся, и обычно они сживали в парке клиники на старой дубовой скамье возле кирпичной стены. Носил Ханин табачного цвета застиранный, с клеймом, халат и шлепанцы, а голову повязывал от солнца носовым платком с четырьмя узелками по углам. Безделье мучило его больше, чем рана, он говорил Лапшину дерзости, бранил врачей, кричал на санитарок, которые его обслуживали. Все ему не нравилось: кормили плохо, постель была неудобная, ординатор — дубина и самодовольный дурак, вчера в палате перегорела лампочка, и два часа не шел монтер...

— Вредный ты какой сделался! — сказал ему как-то Лапшин. — Жужжишь, ворчишь...

— Я не могу, когда на меня молятся! — крикнул Ханин. — Я от нее на луну уеду.

От того, что он сказал, ему стало стыдно. Он отвернулся, щелкнул тростью по скамье и добавил мягко:

— Улетит мой летчик без меня. Что тогда будет?

— Конец света будет, — сказал Лапшин.

В другой раз Ханин стал жаловаться на то, что ничто так не портит мужчину, как любовь женщины.

— Я тебя не понимаю, — сказал Лапшин.

— Нашего брата нельзя любить безрассудно, — говорил Ханин, — нельзя относиться ко мне так, будто я чудо из чудес. Живу я здесь долго, капризничая, а она мне утверждает, что я самый лучший, прелестный, умный, талантливый. И что бы я ни сказал — все хорошо, умно, замечательно... Ты слушаешь?

— Да, — сказал Лапшин, — но мне пора ехать.

— Посиди! — сказал Ханин. — Одним словом, мне это немножко поднадоело.

— Не стоит об этом говорить, — сказал Лапшин, вставая со скамьи.

Ханин оперся на трость и тоже встал.

— Погоди, погоди, — сказал он, — погоди, Иван Михайлович!

— Я эти твои разговоры отношу за счет болезни, — сказал Лапшин, — они на тебя не похожи.

Они медленно шли по узкой дорожке парка: Ханин впереди, Лапшин сзади.

— Ты попробуй прижимать рану ладонью, — говорил Лапшин. — Мне это когда-то очень помогало. Свободнее ходил.

— Привези мне марок почтовых, — сказал Ханин, — буду хоть письма писать, что ли. Ладно?

— Ладно, — сказал Лапшин. — Привет Наташе.

Он пожал руку Ханину, но Ханин не выпустил сразу его руки из своей.

— Что? — спросил Лапшин.

— Почему же ты мне сразу не сказал? — говорил он, качая своей птичьей головой. — Сказал бы сразу — и вся недолга. Я только сейчас понял.

— Будь здоров! — сказал Лапшин и выдернул руку. Лицо у него было спокойное, и глаза смотрели прямо. — Так, значит, марок?

— Марок-то марок, — сказал Ханин, — да не в них дело.

— Если бы ты не болел так долго, — сказал Лапшин с неудовольствием, — то язык бы у тебя был покороче. Иди, ложись!

Козырнув, он зашагал по дорожке, сдвинул назад кобуру и исчез в калитке. В автомобиле он думал о том, что тяжело будет, когда Ханин

опять переедет к нему, и что было бы отлично, если бы Ханин переехал из клиники не к нему, а к себе. Но от этих мыслей ему сделалось неловко, и он тут же твердо решил, что обязательно перевезет Ханина сам, и что Ханин обязательно будет жить у него, и что все остальное — вздор. Решив так, он почувствовал облегчение и повеселел, а потом стал думать про Ваську Окошкипа и еще больше повеселел.

В управлении его вызвали к начальнику, и начальник предложил ему идти первого в отпуск.

— Да нет, не пойду, — сказал Лапшин. — Пускай уж мой Ханин поправится. Неловко как-то. Попозже пойду.

На лестнице он встретил Ваську Окошкина.

— Ну что, Вася? — спросил Лапшин. — Как поживаешь?

— Ничего, товарищ начальник! — вяло сказал Окошкин. — А вы как?

— И я ничего.

— Ну что ж, — сказал Окошкин, — надо бежать.

— Беги, Вася, — сказал Лапшин, — заходи в гости.

Через несколько дней Лапшин перевез к себе Ханина, и комната его, благодаря постоянному теперь присутствию Наташи, резко изменилась. Больше не пахло сапогами, буфет Наташа передвинула, люстру сняла и вместо нее повесила большой синий абажур. И в двух банках от варенья теперь постоянно стояли цветы. Патрикеевне все это не нравилось. Наташу она не уважала и, считая, что Ханин «закрутил», все свое внимание перенесла на Лапшина. Несколько дней подряд она варила его любимые свежие щи и покупала ему язык, которого Ханин не ел. Наташе она говорила «вы» и за глаза называла «эта» и «барыня».

А у Лапшина теперь совсем не было своего дома.

Сидеть с Наташей и Ханиным ему не хотелось, и он часто ночевал на диванчике в кабинете. Потом поехал в Карелию, потом в Мурманск, потом еще раз в Мурманск. Жил он там в «Арктике», в плохом номере, слушал патефон соседа и гулял белыми ночами по дощатым тротуарам и по скалистым переулкам странного северного города. С собой у него была книга об истории Парижской коммуны, он понемногу читал и с каждым часом чувствовал себя все свободнее и свободнее от того, что так мучило его раньше. Глядя белой ночью в

окно на смутные очертания далеких рыжевато-серых гор, и на воду, и на застывшие в ней корабли, и на розовое, точно дымное, небо, он думал о том, как наступит осень и как он изменит свою жизнь, как начнет заниматься, как уплотнит дни и как два раза в пятидневку обязательно будет преподавать в своей бригаде. И его охватывало беспокойство, он вынимал блокнот и, потирая макушку ладонью, распределял часы, дни и месяцы, зачеркивал и вновь распределял, стараясь составить весь план так, чтобы он был и гибок, и точен, и выполним, и широк.

Засыпал он обычно поздно и спал спокойным и легким сном — как засыпал на спине, так и просыпался.

В конце июля Ханин уезжал в Москву, а оттуда на Дальний Восток. С полетом у него не вышло — он опоздал, летчик уже улетел.

Опять он ходил по вагону, как по своей комнате, и опять лицо его выражало оживление, так свойственное людям, уезжающим надолго. Он много говорил, смеялся, стучал палкой, и Лапшину приятно было думать, что сейчас Ханин опять начнет жить привычной для него и любимой им жизнью.

— Поедем со мной, — говорил Ханин, а, Иван Михайлович? Поедем, милый! У меня много друзей по всему Союзу, везде нас накормят, и спать положат, и пирожков на дорогу испекут. Будем ехать, и ехать, и ехать, а? Я тебе рыбу покажу, океан покажу, леса покажу, озера. Со стариком одним познакомлю. Поедем! Вели ему, Наташка, чтобы он ехал!

— Да ну что! — сказала Наташа и отвернулась.

Лицо у нее было злое, и Лапшину на секунду показалось, будто Ханин нарочно так много говорит.

— Ты глупый или умный? — вдруг спросил Ханин.

— Я средний, — улыбнувшись сказал Лапшин.

— Вероятно, ты умный, — сказал Ханин, — но я не понимаю твоего молчания. Когда ты молчишь, я не знаю, что о тебе думать. Иногда я думаю, что ты железный.

— Не знаю, почему железный? — сказал Лапшин. Они пошли втроем по перрону в сторону паровоза.

— Ну? — спросил Ханин.

— Один адвокат, которого я допрашивал, — все еще улыбаясь, говорил Лапшин, — видный дядька, сказал моему начальству, что я

посредственность. Я тогда подумал: «Посредственность посредством, а ты, индивид, мне во всем сознался и сам подписал своей рукой, что, дескать, сознаюсь, я действительно хабарник, продажная шкура и предатель». А?

Он засмеялся, покрутил головой и добавил:

— Приятно мне, помню, сделалось.

— Какой паровоз здоровый! — сказал Ханин. — Надо бы как-нибудь на паровозах поездить. Верно, Наташа?

Она промолчала.

— Ну, пора! — сказал Ханин. — Пора в вагон лезть. Хватит, поговорили. Спасибо тебе, Иван Михайлович, и тебе, Наташа.

— Когда приедешь? — спросил Лапшин.

— Года через два.

— Ну ладно, — сказал Лапшин. — Будь здоров!

— И ты будь здоров, — сказал Ханин, закрывая один глаз. — И постарайся, чтобы тебя не убили. И за Наташей приглядывай.

Поезд двинулся. Ханин встал на подножку, и Лапшин прошел несколько шагов за вагоном. Но Наташа осталась, стояла у столба, и Лапшин, махнув Ханину рукой, вернулся к ней.

— Ну что? — спросил он, сочувственно глядя на нее, — Пойдем?

— Теперь я пропаду, — сказала она в автомобиле.

И, закрыв лицо ладонями, тихо заплакала.

— Я люблю его, говорила она, — я так люблю его! Мне очень плохо, Иван Михайлович. Ведь он даже письма не напишет.

Лапшин молчал, жалея Наташу.

Перестав плакать, она разгрызла орех, вздохнула и сказала:

— Вот вы счастливый человек. У Ханина — Лика, у меня — Ханин, а у вас хоть бы что!

— Это верно, — сказал Лапшин.

— Вы будете ко мне приходить? — спросила она, когда он довез ее до дому.

— Зайду как-нибудь, спасибо, — сказал Лапшин и, захлопнув дверцу, козырнул.

Она пошла в ворота, а он поглядел ей вслед, натянув на руку перчатку, и стал разворачивать автомобиль. По дороге он купил боржому. Дома при свете лампы под новым абажуром Патрикеевна

вязала Лапшину шерстяные носки. Кровать, на которой когда-то спал Васька, а потом Ханин, была уже убрана.

— Купить бы нам диванчик, — сказала Патрикеевна. — Все как у людей было бы.

— Купим, — сказал Лапшин, садясь к приемнику, — разбогатеет — купим. Пока что у меня шестьсот рублей долгу поднабралось с болезнями с этими да с цветами...

— Провались ты! — сказала Патрикеевна и сделала вид, что плюнула.

— Сокращаться надо, сокращаться, — сказал Лапшин. — Всякие ветчины пока бросим.

— Ну вас! — сказала Патрикеевна и, швырнув вязание, ушла к себе в нишу. Ей сделалось очень обидно, что у Лапшина мало денег и что на ее долю перепадать будут гроши.

Лапшин с опаской взглянул на вязание, выключил радио и засвистал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

— Последнее просвистите! — сказала Патрикеевна из ниши, — Рассвистались!

Он замолчал и стал раздеваться. На чай никакой надежды не было.

Дождливым августовским вечером, когда Лапшин и Ашкенази играли в шахматы, пришел вдруг Васька Окошкин. Встряхнув макинтош, он развесил его на спинку стула, вытер душистым платком смуглое лицо и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Остались от козлика рожки да ножки.

— Рожки да ножки, — басом повторил Лапшин. — Рокируюсь, доктор!

Ему очень хотелось узнать, что случилось с Васькой, но он не подал виду.

Васька вел себя беспокойно, скрипел стулом, потом стал рыться в буфете, и в комнате запахло валерьянкой.

— Рожки да ножки, — спел Лапшин, кончая игру и ссыпая фигуры в коробку.

Ашкенази ушел.

— Ну, Вася, — сказал Лапшин, — угощу я тебя чаем с хлебом и с маслом.

— Иван Михайлович, — сказал Васька, — я тебя попрошу, пусти меня к себе пожить, сделай одолжение!

— А что?

— А то, — сказал Васька, — не могу я больше эти Вальпургиевы ночи переносить! Пьют из меня кровь две ведьмы. Ну сами поглядите, что от меня осталось...

— Довольно прилично выглядишь, — сказал Лапшин, — но это дело девятое.

— Правильно, — сказал Васька.

Он откусил огромный кусок хлеба с маслом и положил в стакан три куса сахару, потом, вопросительно взглянув на Лапшина, положил четвертый.

— Ничего, — сказал Лапшин, — можно.

— Чума их задави! — сказал Васька. — Зато маникюр мне делали по два рубля за штуку. Что я, на сахар себе не зарабатываю, а? Ну люблю сладкий чай, ну бейте, ну, эх!

Отодвинув от себя стакан, он сел на подоконник и стал глядеть на улицу.

— Ладно, Окошкин, чего так болезненно переживать! — сказал Лапшин. — Ну, наскочил на плохую женщину, подумаешь — делов! Иди, пей. Развелся ты или как?

— Убежал, — сказал Васька. — Они меня за селедками послали, на трешку селедочек купить. Я трешку в кулак — и ходу. Хрен вон им, а не селедки!

Отпивая большими глотками чай, он с жадностью откусывал хлеб с маслом и говорил, как его мучают, как ему не дают есть, как ему приказали вывести в тещиной комнате клопов, как он уронил вазочку и какой был потом скандал.

— Ладно, — сказал Лапшин, — надоело. Только уж живи либо тут, либо там...

— Конечно, — согласился Васька.

Пришла с собрания Патрикеевна и, узнав, что Васька опять здесь будет жить, неожиданно обрадовалась. Ей пришло в голову, что теперь-то Васька должен платить за стол и что ей, пожалуй, тоже перепадет.

— Так что койку принести? — спросила она.

— Пойдем, принесем, — сказал Васька.

Когда расставляли койку, зазвонил телефон, и женский голос спросил у Лапшина, не здесь ли Окошкин.

— Здесь, — сказал Лапшин, передавая трубку Ваське.

Васька долго слушал молча, потом сказал:

— Не тарактите, пожалуйста, как два мотоциклета.

Потом через несколько минут опять сказал:

— Попрошу террор не наводить.

И наконец, когда Лапшин прочитал передовую в газете, Васька произнес:

— Никаких претензий я к вам не имею, но с вами развожусь. Да! Хватит, подоили! Да! Так моей бывшей жене и передайте. Да! С приветом! Окошкин.

Повесив трубку, Васька сел на кровать к Лапшину, длинно и с облегчением вздохнул и сказал:

— Все в порядочке.

— Почитай лучше книжку, — сказал Лапшин. — Какой-то ты, действительно, нервный стал...

Они почитали еще с полчаса, потом Лапшин спросил, можно ли гасить свет. Но Васька уже не ответил — спал. На нем была новая нижняя рубашка, белая с розовым, и Лапшину сделалось смешно и немного жаль Ваську.

1937

Комментарии

1

Отдел по борьбе с политическим бандитизмом.